



ДУГЛАС КЕННЕДИ

История одной любви

В ПОГОНЕ ЗА СЧАСТЬЕМ

Красивые вещи

Дуглас Кеннеди

В погоне за счастьем

«РИПОЛ Классик»

2001

УДК 821.111
ББК 84(4Вел)6-44

Кеннеди Д.

В погоне за счастьем / Д. Кеннеди — «РИПОЛ Классик»,
2001 — (Красивые вещи)

ISBN 978-5-386-14350-3

Роман Дугласа Кеннеди «В погоне за счастьем» – это трагическая история любви, с внутренними конфликтами и причудливыми гримасами судьбы. В этой истории страсть, боль, предательство, непонимание и прощение слились в один запутанный клубок, распутать который сумеет только жизнь. Однажды на богемной вечеринке среди интеллектуалов из Гринвич-Виллидж юная и очаровательная Сара повстречала Джона. Это был короткий, но незабываемый роман. После которого на долгие годы пути молодых людей разошлись. Говорят, время лечит. Вот и Сара забыла о былых чувствах. Теперь у нее за плечами карьера, брак и дочь – стабильная и спокойная жизнь. Однако новая встреча с бывшим возлюбленным, ныне женатым и отцом сына, вновь переворачивает ее мир. Потому что Джек за прошедшие годы так и не забыл ее и теперь так просто не отпустит...

УДК 821.111
ББК 84(4Вел)6-44

ISBN 978-5-386-14350-3

© Кеннеди Д., 2001
© РИПОЛ Классик, 2001

Содержание

Часть первая. Кейт	6
1	6
2	15
3	26
4	48
Часть вторая. Сара	51
1	51
2	69
3	75
4	85
Конец ознакомительного фрагмента.	96

Дуглас Кеннеди

В погоне за счастьем

Douglas Kennedy
The Pursuit of Happiness

© 2001 by Douglas Kennedy

© Литвинова И. А., перевод на русский язык, 2021

© Издание на русском языке, оформление. ООО Группа компаний «РИПОЛ классик»,
2021

* * *

И снова посвящаю Грейс Карли

*Не совершая должного,
Мы совершаем недолжное.
И полагаемся на судьбу,
В надежде, что она отведет беду.
Мэттью Арнольд*

Часть первая. Кейт

1

Впервые я увидела ее у гроба моей матери. Ей было за семьдесят: высокая, сухопарая женщина, с жидкими седыми волосами, собранными в тугий пучок на затылке. Она выглядела так, как мне самой хотелось бы выглядеть в ее возрасте, если бы удалось дожить. Она держала спину очень прямо, как будто отказывалась горбиться под тяжестью прожитых лет. У нее была безупречная фигура. Кожа сохранила природную свежесть. Морщины, сколько бы их ни было, не портили ее лица. Скорее наоборот, они придавали ему выразительности, *серьезности*. В ней до сих пор угадывалась стать утонченной аристократки. Наверняка еще до недавнего времени мужчины находили ее красавицей.

Но что особенно привлекло мое внимание, так это глаза. Голубовато-серые. Цепкие, вдумчивые, внимательные, слегка печальные. Но как же на похоронах – и без печали? Разве можно смотреть на гроб и не представлять себя на месте покойного? Говорят, похороны придуманы для живых. Чертовски верно подмечено. Потому что мы не просто оплакиваем тех, кто ушел. Мы оплакиваем себя. Жестокую мимолетность жизни. Ее ничтожность и бессодержательность. Нам становится грустно от сознания, что мы плутаем по жизни, как путники без карты, совершая ошибки на каждом повороте.

Когда я в упор посмотрела на женщину, она отвела взгляд – будто смутившись оттого, что я поймала ее в момент, когда она разглядывала меня. Собственно, в ее пристальном интересе ко мне не было ничего удивительного, ведь на похоронах дитя усопшего становится объектом всеобщего внимания. Ему, как самому близкому родственнику, надлежит задавать эмоциональный настрой. Ты можешь зарыдать или просто всхлипнуть, окружающие непременно тебя поддержат. Если же ты скуп на эмоции, они тоже будут сдержанны, дисциплинированы, корректны.

Я как раз вела себя очень сдержанно и корректно – как и остальные человек двадцать, провожавшие мою мать «в последний путь». Именно так выразился распорядитель похорон, когда мы обсуждали стоимость доставки гроба от «придела вечного покоя» на 75-й улице до кладбища, растянувшегося вдоль взлетной полосы аэропорта Ла Гардиа во Флашинг-Медоу, в районе Куинс.

Когда женщина отвернулась, я расслышала рев реактивных двигателей и взглянула в холодно-голубое зимнее небо. Наверняка в этот момент кто-то подумал, что я созерцаю небеса, пытаюсь угадать, где найдет приют душа моей матери. Но на самом деле меня куда больше занимали характеристики лайнера, идущего на посадку. *«ЮС Эйр». Один из тех стареньких 727-х, которые до сих пор летают на коротких рейсах. Возможно, шаттл из Бостона. Или из Вашингтона...*

Удивительно, какая чушь лезет в голову в самые ответственные моменты жизни.

– Мама, мамочка.

Мой семилетний сын, Этан, дергал меня за рукав пальто. Его голос прорвался сквозь печальный речитатив священника, который читал из «Откровений Иоанна Богослова»:

И отрет Бог всякую слезу с очей их,
И смерти не будет более;
Ни плача, ни вопля, ни болезни не будет,
Ибо прежнее прошло.

Я с трудом сглотнула. Ни скорби. Ни слез. Ни боли. Нет, не такой была жизнь моей матери.

– Мамочка, мамочка...

Этан продолжал дергать меня за рукав, требуя внимания. Я приложила палец к губам, другой рукой поглаживая его макушку.

– Не сейчас, дорогой, – прошептала я.

– Я хочу пи-пи.

Я едва сдержала улыбку.

– Папа отведет тебя, – сказала я, подняв голову и перехватив взгляд своего бывшего мужа, Мэтта. Он стоял по другую сторону гроба, в задних рядах скорбной толпы. Я почти не удивилась, когда увидела его сегодня утром на панихиде. С тех пор как пять лет тому назад он оставил Этана и меня, наши отношения стали исключительно деловыми. Разговоры, если они и случались, крутились вокруг сына и традиционных финансовых проблем, которые принуждают к общению даже супругов, разведенных со скандалом. Любые его попытки к примирению я пресекала на корню. По какой-то необъяснимой причине я так и не смогла простить его за то, что он променял нас на эту медийную пустышку – Мисс «Говорящая голова» новостного канала «Ньюс ченел-4 Нью-Йорк». Притом что Этану тогда было всего двадцать пять месяцев от роду.

Но ведь это не повод, чтобы падать духом, верно? Что поделать, если Мэтт повел себя так банально. Но, справедливости ради, я все-таки выскажусь и в защиту своего бывшего мужа: он оказался любящим и заботливым отцом. Этан обожает его – и это заметили все собравшиеся у могилы, когда он пронесся мимо гроба своей бабушки, устремившись к отцу. Мэтт подхватил его на руки, и я увидела, как Этан прошептал ему на ухо свою просьбу о «пи-пи». Коротко кивнув мне, Мэтт закинул его на плечо и поспешил на поиски туалета.

Тем временем священник перешел к самой известной погребальной молитве, двадцать третьему псалму.

Ты устроил мне пир у гонителей моих на виду;
Умастил елеем главу мою,
И полна чаша моя.

Я расслышала, как мой брат Чарли с трудом подавил всхлип. Он стоял в самой гуще толпы. Ему по праву можно было дать приз за Лучший Похоронный Образ: сегодня утром он явился в церковь прямиком с ночного рейса из Лос-Анджелеса, мертвенно-бледный, помятый, глубоко несчастный. Я не сразу узнала его – в последний раз мы виделись лет семь назад, и черная магия времени успела превратить его в мужчину средних лет. Да, я тоже перешла в эту возрастную категорию – *уввы!* – но Чарли (в свои пятьдесят пять, почти на девять лет старше меня) действительно выглядел... я бы сказала, *пожилым*... или, скорее, *потухшим*, так было бы точнее. Он умудрился растерять не только шевелюру, но и физическую силу. Его лицо стало дряблым. Бока заплыли жиром, и от этого его черный костюм, и без того плохо сидевший на нем, казался чудовищной портновской ошибкой. Ворот белой рубашки был расстегнут. Черный галстук заляпан жирными пятнами. Весь его облик говорил о плохом питании и разочаровании в жизни. В последнем я, конечно, была с ним заодно... но меня поразило то, как некрасиво он стареет. И еще меня удивило, что он пересек целый континент, чтобы попрощаться с женщиной, с которой последние тридцать лет поддерживал лишь формальные отношения.

– Кейт, – произнес он, приблизившись ко мне в церкви.

Я невероятно удивилась, и он это заметил.

– Чарли?

Возникла некоторая неловкость, когда он потянулся, чтобы обнять меня, но в последний момент передумал и просто пожал мне обе руки. Какое-то мгновение мы молчали, не зная, что сказать друг другу. Наконец я сумела выдать:

– Какой сюрприз...

– Я знаю, знаю, – оборвал он меня.

– Ты получил мои сообщения?

Он кивнул.

– Кейти... мне так жаль.

Я резко оттолкнула его руки.

– Только не надо выражать мне соболезнования, – сказала я, и сама удивилась, насколько спокойно это прозвучало. – Она была и твоей матерью. Ты не забыл?

Он побледнел. И пробормотал:

– Это несправедливо.

Мой голос был по-прежнему очень спокойным, очень сдержанным.

– Каждый день, весь этот месяц – уже зная, что умирает, – она все спрашивала меня, не звонил ли ты. И я до последнего врал, говорила, что ты постоянно звонишь мне, справляешься о ней. Так что не надо мне говорить о справедливости.

Мой брат уставился в пол. Тут ко мне подошли две мамыны подруги. Пока они, соблюдая формальности, выражали мне свои чувства, Чарльз воспользовался моментом и ускользнул. Когда началась служба, он сел в последнем ряду. Я повернула голову, оглядывая зал, и на какое-то мгновение встретилась с ним взглядом. Он тотчас отвернулся, явно смутившись. После службы я высматривала его в толпе, чтобы предложить ему поехать со мной на кладбище в так называемом семейном авто. Но его нигде не было. Так что в Куинс я отправилась с Этаном и тетушкой Мег. Она была сестрой моего отца – семидесятичетырехлетняя старая дева, которая последние сорок лет жизни посвятила разрушению собственной печени. Я была рада, что она явилась трезвой на похороны своей невестки. Потому что в те редкие дни, когда она воздерживалась от выпивки, лучшей наперсницы, чем Мег, было не найти. Прежде всего потому, что она была остра на язык. Когда наш лимузин отъехал от церкви, разговор зашел о Чарли.

– Что ж, – сказала Мег, – блудный *болван* возвращается?

– И тут же исчезает, – добавила я.

– На кладбище он явится, – заверила она меня.

– Откуда ты знаешь?

– Он сам мне сказал. Пока ты чесала языком, я поймала его на выходе из церкви. Предложила ему ехать с нами в Куинс. Но тут он что-то заблеял: мол, ему лучше на метро. Говорю тебе: Чарли все такой же засранец, только старей.

– Мег, – с упреком произнесла я, кивнув в сторону Этана. Он сидел рядом со мной, увлеченно читая книгу «Могучие рейнджеры».

– Он и не слушает мой треп, правда ведь, Этан?

Он оторвался от книги.

– Я знаю, кто такой *засранец*, – сказал он.

– Молодец! – Мег взъерошила ему волосы.

– Читай свою книгу, дорогой, – сказала я.

– Какой же умный ребенок, – заметила Мег. – Ты отлично воспитала его, Кейт.

– В том смысле, что он умеет ругаться?

– Люблю девчонок с высокой самооценкой.

– Значит, это про меня.

– По крайней мере, ты всегда все делала правильно. Особенно в том, что касается семьи.

– Да уж... и посмотри, куда меня это завело.

– Твоя мать обожала тебя.

– Обожала. В месяц раз.

– Я знаю, с ней было трудно...

– Скажи лучше, совершенно невозможно.

– Поверь мне, дорогая, ты и этот мальчуган были для нее всем. И я не преувеличиваю: именно *всем*.

Я закусила губу и еле сдержалась, чтобы не разреветься. Мег взяла меня за руку:

– Послушай меня: и родители, и дети думают, что именно им всего труднее. В итоге никто не чувствует себя счастливым. Но, по крайней мере, ты не будешь страдать от чувства вины, как это происходит сейчас с твоим идиотом братцем.

– Ты знаешь, на прошлой неделе я оставила ему три сообщения, сказала, что ей остались считанные дни, что он должен приехать и повидаться с нею.

– И он так и не перезвонил?

– Нет, за него это сделал его пресс-секретарь.

– *Принцесса?*

– Единственная и неповторимая.

«Принцессой» мы окрестили Холли – особу малопривлекательную и глубоко провинциальную, которая в 1975 году женила на себе Чарли и постепенно убедила его (бредовых доводов у нее нашлось предостаточно) порвать отношения с семьей. Не могу сказать, что Чарли особо упирался. С тех пор как я начала что-то смыслить в таких вещах, я знала, что мать и Чарли относятся друг к другу, мягко говоря, прохладно, и главной причиной тому был мой отец.

– Ставлю двадцать баксов на то, что малыш Чарли сломается у могилы, – сказала Мег.

– Да ни за что, – возразила я.

– Хотя я его давно не видела... когда, черт возьми, он приезжал к нам в последний раз?

– Семь лет назад.

– Точно, это было лет семь назад, но я слишком хорошо знаю этого паршивца. Поверь мне, он всегда жалел себя. Сегодня, как только я его увидела, сразу подумала: бедный старый Чарли все еще разыгрывает эту карту. А помимо жалости к себе его терзает и жуткое чувство вины. С умирающей матерью он не смог проститься, а теперь пытается загладить это своим внезапным появлением на похоронах. Какая драма.

– Он все равно не заплачет. У него все под контролем.

Мег помахала банкнотой перед моим носом:

– Давай посмотрим, какого цвета твоя наличность.

Я порылась в кармане жакета и нащупала две десятки. Торжествующе показала их Мег:

– С удовольствием избавлю тебя от двадцатки.

– С моим удовольствием от созерцания рыдающего говнюка это не сравнится.

Я покосилась в сторону Этана (все еще поглощенного чтением) и сделала выразительные глаза.

– Извини, – сказала Мег, – случайно вырвалось. Не отрываясь от книги, Этан произнес:

– Я знаю, кто такой *говнюк*.

Мег выиграла пари. После прощальной молитвы над гробом священник тронул меня за плечо и выразил свои соболезнования. Потом, один за другим, ко мне подходили все участники траурной церемонии. Пока длился этот ритуал рукопожатий и объятий, мне на глаза снова попала та женщина. Она стояла и смотрела на надгробный камень рядом с могилой моей матери, напряженно вглядываясь в надпись. Я знала ее наизусть:

Джон Джозеф Малоун

22 августа 1922 – 14 апреля 1956

Джон Джозеф Малоун. Джек Малоун. Мой отец. Который внезапно покинул этот мир, когда мне было всего-то полтора года, и чье незримое присутствие я ощущала всегда. Удивительные люди эти родители: они могут физически исчезнуть из твоей жизни – ты можешь даже их не знать, – но освободиться от них невозможно. Это их право: быть с тобой всегда, нравится тебе это или нет. И как бы ты ни старалась избавиться от этих уз, они тебя не отпустят.

Когда меня обнимала Кристина, моя соседка сверху, из-за ее плеча я увидела, что Чарли направляется к могиле отца. Женщина все еще стояла там. Но как только увидела, что приближается Чарли (а она, по всей видимости, знала, кто он), сразу отошла в сторону, уступая ему место у надгробия. Чарли шел с поникшей головой, нетвердым шагом. Подойдя к камню, он привалился к нему, словно искал опору, – и вдруг затрясся от нахлынувших чувств. Поначалу он пытался держать себя в руках, но очень скоро сдался и зарыдал в голос. Я мягко высвободилась из объятий Кристины. Мне хотелось броситься к нему, но я удержалась от столь открытого проявления родственных чувств (тем более что не могла так сразу простить ему боль, которую он причинил матери своим долгим отсутствием). Я медленно подошла и коснулась его руки.

– Ты в порядке, Чарли? – тихо спросила я.

Он поднял голову. Его лицо было красным, как помидор, в глазах стояли слезы. Он вдруг шагнул ко мне, уткнулся в плечо, крепко вцепился в меня, как будто я была спасательным кругом в открытом море. Его рыдания стали истерическими, он уже не владел собою. Сперва я молча стояла, руки по швам, не зная, что делать. Но его горе было таким пронзительным, таким *громким*, что мне ничего не оставалось, как обнять его.

Прошло какое-то время, и рыдания стихли. Я смотрела прямо перед собой, наблюдая за Этаном, который возвращался из туалета. Он порывался бежать ко мне, но Мэтт мягко придерживал его. Я подмигнула сыну, и он ответил лучезарной улыбкой. Я покосилась налево и снова увидела ту женщину. Она стояла у соседней могилы и смотрела, как я утешаю Чарли. Прежде чем она успела отвернуться (опять!), я заметила, какой напряженный у нее взгляд. И тут же спросила себя: откуда, черт возьми, она нас знает?

Моим вниманием вновь завладел Этан. Двумя пальцами он растянул рот в улыбке и высунул язык – смешная рожица, которую он обычно корчит, когда ему кажется, что я чересчур серьезна. Мне с трудом удалось подавить смех. Потом я опять повернула голову туда, где стояла женщина. Но ее уже там не было – она одиноко шла по пустой гравийной дорожке к воротам кладбища.

Чарли глубоко вздохнул, пытаясь успокоиться. Я решила, что пора разомкнуть объятия, и мягко отстранилась.

– Тебе легче? – спросила я.

Он стоял, опустив голову.

– Нет, – прошептал он и добавил: – Я должен был... я должен был...

Он снова зарыдал. *Я должен был*. Сколько муки и раскаяния в этой фразе. Мы не перестаем повторять ее на протяжении всего фарса, именуемого жизнью. Но Чарли был прав. *Он должен был*. Только теперь ничего нельзя исправить.

– Возвращайся в город, – сказала я. – Мы устраиваем поминки в квартире матери. Ты ведь помнишь, где это?

И тут же пожалела, что сказала это, потому что Чарли опять зарыдал.

– Я глупость сказала, – тихо произнесла я. – Прости.

– Это мне нужно просить прощения, – прорвалось сквозь слезы. – Мне...

Он снова раскис, у него началась настоящая истерика. На этот раз я не предложила ему утешения. Я отвернулась и увидела, что Мег стоит неподалеку, с невозмутимым видом, но явно готовая броситься на помощь. Когда я двинулась к ней, она кивнула в сторону Чарли и подняла брови в немом вопросе: «Сменить тебя?» Еще спрашиваешь! Она подошла к племяннику и, взяв его под руку, сказала: «Пошли, малыш Чарли, прогуляемся немножко вдвоем».

Мэтт отпустил Этана, и тот вприпрыжку бросился ко мне. Я присела на корточки, широко раскинув руки ему навстречу.

– Ну что, теперь порядок? – спросила я.

– Туалет был гадкий, – ответил он.

Я повернулась к могиле матери. Священник все еще стоял у гроба. Позади него выстроились кладбищенские рабочие. Они держались на почтительном расстоянии, но нетрудно было догадаться, что они ждут, пока мы уйдем, чтобы они могли заняться привычным делом: опустить гроб в подземное царство Куинс, засыпать могилу землей и со спокойной душой отправиться на ланч... а может, и в ближайший боулинг. Ведь жизнь продолжается – с тобой или без тебя.

Священник кивнул мне, словно подсказывая: *пора прощаться*. Что ж, преподобный, будь по-вашему. Сейчас мы все возьмемся за руки и споем.

Пришло время сказать всем до свидания...

М-И-К... До скорой встречи...

К-И... Что, уже уходите?..

М-А-У-С...

На долю секунды я перенеслась в нашу старую квартиру на 84-й улице, между Бродвеем и Амстердам-авеню. Мне было шесть лет, и я только что вернулась из школы Бреарли, где училась в первом классе. Я сидела дома, перед телевизором – допотопным черно-белым «Зени-том» с круглым кинескопом и антенной-усами на тумбочке под красное дерево, – наблюдая за похождениями «мышкетеров», а мама, пошатываясь, подошла ко мне, держа в руках два стакана: один с клубничным напитком для меня, а другой – с коктейлем «Кэнедиан клуб» для себя.

– Как там Микки и его друзья? – заплетающимся языком спросила она.

– Они мои друзья, – ответила я.

Она устроилась рядом со мной на диване:

– А ты мне друг, Кейти?

Я пропустила ее вопрос мимо ушей.

– Где Чарли?

Она нахмурилась, как будто ее обидели.

– В «Мистер Барклайз», – назвала она танцевальную школу, куда раз в неделю, с боем, отправляли мальчиков-подростков вроде Чарли.

– Чарли ненавидит танцы, – сказала я.

– Тебе-то откуда знать? – возразила мама, залпом опустошая половину стакана.

– Я сама слышала, как он тебе говорил, – ответила я. – *Я ненавижу танцевальную школу. Я ненавижу тебя.*

– Он не говорил, что ненавидит меня.

– Нет, говорил, – отрезала я и снова переключилась на «Мышкетеров».

Мама опрокинула остаток коктейля:

– Он *не говорил* этого.

Я решила, что это игра.

– Нет, говорил.

– Ты *не слышала*...

– Почему мой папа на небесах? – перебила я.

Она резко побледнела. Хотя мы не раз говорили об этом, вот уже год, как я не спрашивала про папу. Просто сегодня нам в школе раздали приглашения на Праздник Пап.

– Почему ему пришлось подняться на небеса? – снова спросила я.

– Дорогая, я уже говорила тебе, что он не хотел туда. Но заболел...

– Когда я смогу с ним встретиться?

Теперь на ее лице появилось отчаяние.

– Кейти... ты ведь мне друг, правда?

– Позволь мне увидеться с папой.

Я расслышала, как она сдержала всхлип.

– Если бы я могла...

– Я хочу, чтобы он пришел ко мне в школу...

– Кейти, скажи, что ты мне друг.

– Верни папу на землю.

Ее голос стал жалобным, еле слышным.

– Я не могу, Кейти. Я...

И тогда она заплакала. Прижимая меня к себе. Уткнувшись головой в мое маленькое плечо. Нагоняя на меня страх. И от этого страха мне пришлось бежать из комнаты.

Это был единственный раз, когда я видела ее пьяной. И единственный раз, когда она плакала на моих глазах. А еще это был последний раз, когда я попросила ее вернуть мне отца.

– *Ты мне друг, Кейти?*

Я так и не ответила ей на этот вопрос. Потому что, по правде говоря, не знала, что ответить.

– Мамочка! – Этан дергал меня за руку. – Мамочка! Я хочу домой!

Я очнулась и снова оказалась в Куинсе. Перед глазами был гроб моей матери.

– Давай сначала попрощаемся с бабушкой, – сказала я.

Я подтолкнула Этана вперед, чувствуя, что все взгляды устремлены на нас. Мы подошли к гробу из полированного тика. Этан постучал по крышке своим маленьким кулачком:

– Привет, ба. Прощай, ба.

Я больно закусила губу. В глазах закипели слезы. Я бросила взгляд на могилу отца. *Вот и все. Вот и все. Теперь я круглая сирота.*

На мое плечо легла чья-то крепкая рука. Я обернулась. Это был Мэтт. Я проигнорировала его участие. До меня вдруг дошло, что мы с Этаном остались одни. Только мы вдвоем, и больше никого.

Священник в очередной раз выразительно посмотрел на меня. Да-да, я поняла, мы заканчиваем.

Я положила руку на крышку гроба. Она была холодной на ощупь. Я убрала руку. Пожалуй, достаточно для прощального жеста. Я снова закусила губу, сдерживая себя. Потом взяла за руку сына и повела его к машине.

Мэтт ждал нас у лимузина. Он тихо заговорил:

– Кейти, я только хотел...

– И знать ничего не хочу.

– Я просто хотел сказать...

– Говорю ли я по-английски?

– Пожалуйста, выслушай...

Я дернула ручку дверцы:

– Нет, я не буду слушать тебя...

Этан тянул меня за рукав:

– Папа пригласил меня в кино. Можно я пойду, мама?

Только тогда я поняла, что смертельно устала.

– У нас поминки... – расслышала я собственный голос.

– Этану будет лучше провести время в кино, ты не находишь? – сказал Мэтт.

Да, пожалуй. Я закрыла лицо руками. И почувствовала себя глубоко несчастной.

– Пожалуйста, можно мне пойти, мама?

Я взглянула на Мэтта:

– Когда ты привезешь его домой?

– Я подумал, что ему, наверное, захочется переночевать у нас.

Похоже, он тотчас пожалел о том, что употребил последнее местоимение во множественном числе, но продолжил:

– Утром я отвезу его в школу. И если тебе нужно, он может остаться еще на пару дней...

– Отлично, – сказала я, не дав ему договорить. Потом опустила на корточки и обняла сына. – Ты мне друг, Этан? – ни с того ни с сего вдруг спросила я.

Он робко посмотрел на меня и чмокнул в щеку. Мне бы очень хотелось принять это как утвердительный ответ, но я уже знала, что буду переживать из-за того, что так и не услышала его, остаток дня... и ночь. Одновременно терзаясь мыслями, какого черта я вообще задала этот глупый вопрос.

Мэтт хотел было тронуть меня за руку, но в последний момент передумал.

– Всего хорошего, – сказал он, уводя Этана.

И снова на мое плечо легла чья-то рука. Я смахнула ее, как муху, и сказала, даже не оборачиваясь:

– Я больше не в силах принимать соболезнования.

– Ну и не принимай.

Я закрыла лицо ладонью:

– Извини, Мег.

– Скажи три раза «Аве Мария» и садись в машину.

Я послушно выполнила ее команду. Мег забралась в машину следом за мной.

– А где Этан? – спросила она.

– Проведет остаток дня со своим отцом.

– Вот и хорошо, – сказала она. – Можно подымить.

Она полезла в карман за сигаретами, а другой рукой постучала в стеклянную перегородку. Водитель включил зажигание и медленно тронулся с места.

– Слава богу, можно убраться отсюда, – сказала Мег, закуривая сигарету. После первой затяжки она застонала от удовольствия.

– Курить обязательно? – спросила я.

– Да, обязательно.

– Но это же убьет тебя.

– А я и не знала.

Лимузин вырулил на главную кладбищенскую дорогу. Мег взяла меня за руку своими тонкими варикозными пальцами.

– Как ты, милая? – спросила она.

– Бывало и получше, Мег.

– Ну ничего, потерпи еще пару часов, и это дурацкое мероприятие закончится. А потом...

– Потом я выпаду в осадок.

Мег пожала плечами. И крепче сжала мою руку.

– Где Чарли? – спросила я.

– Возвращается в город на метро.

– Какого черта он это делает?

– Так он представляет себе покаяние.

– Когда я увидела его в таком состоянии, мне стало его по-настоящему жалко. Если бы только он снял телефонную трубку, ему бы удалось исправить свои отношения с матерью.

– Нет, – сказала Мег. – Ничего бы он не исправил.

Когда лимузин подъехал к воротам, я снова увидела ту женщину. Она уверенно шагала по дорожке, и ее походка была удивительно легкой для женщины ее возраста. Мег тоже заметила ее.

– Ты ее знаешь? – спросила я.

Вместо ответа она равнодушно пожала плечами.

– Она была у могилы матери, – сказала я. – И простояла там почти до самого конца.

Мег снова пожала плечами.

– Может, какая-то ненормальная из тех, кому нравится слоняться по кладбищам, – предположила я.

Когда мы поравнялись, она посмотрела в нашу сторону и тут же отвела взгляд.

Лимузин вырулил за ворота кладбища и свернул налево, по направлению к Манхэттену. Я откинулась на сиденье, чувствуя себя совершенно разбитой. Какое-то время мы молчали. Потом Мег ткнула меня в бок локтем:

– Ну и где мои двадцать баксов?

2

Пятнадцать человек из двадцати присутствовавших на похоронах вернулись на квартиру моей матери. Возникла толчея – что неудивительно, ведь последние двадцать шесть лет своей жизни мама ютилась в крохотной квартирке на пересечении 84-й улицы и Вест-Энд-авеню (и даже в тех редких случаях, когда она принимала гостей, я не помню, чтобы за раз собиралось больше четырех человек).

Мне никогда не нравилась эта квартира. Тесная. Плохо спланированная. Юго-западное расположение на четвертом этаже означало, что окна выходили во двор, и в них редко заглядывало солнце. Гостиная одиннадцать на одиннадцать футов, такого же размера и спальня, маленький совмещенный санузел, кухня десять на восемь с допотопной техникой и обшарпанным линолеумом. Все в этой квартире выглядело старым, изношенным и отчаянно нуждалось в обновлении. Три года назад мне удалось уговорить маму перекрасить стены – но, как это часто бывает в старых квартирах, свежий слой эмульсии и блеска лишь подчеркнул убожество плохо заделанных швов и грубо оштукатуренных стен. Ковры пестрели истертыми залысинами. Мебель требовала реставрации. Те немногие технические новшества, что имелись в квартире (телевизор, кондиционер, стереосистема сомнительного корейского производства), морально устарели, причем давно и безнадежно. За последние несколько лет, как только у меня появлялось немного свободной наличности (что, признаюсь, случалось не так уж часто), я предлагала матери поменять телевизор или купить микроволновую печь. Но она всегда отказывалась.

– Как будто тебе больше не на что потратить деньги, – говорила она.

– Но ведь ты моя мама, – возражала я.

– Лучше купи что-нибудь Этану или себе. Мне вполне достаточно того, что у меня есть.

– Но с таким кондиционером ты заработаешь себе астму. А в июле так вообще сварисься заживо.

– У меня есть электрический вентилятор.

– Мама, пойми, я просто пытаюсь тебе помочь.

– Я знаю, дорогая. Но у меня действительно *все хорошо*.

Последние два слова она произносила с особым выражением, однозначно давая понять, что спорить бессмысленно. Тема закрыта.

Она всегда и во всем себе отказывала. Ей не хотелось быть кому-то в тягость. И поскольку она была аристократкой, «белой костью», гордость не позволяла ей становиться объектом благотворительности. Для нее это было равносильно потере лица, краху личности.

Мне на глаза попала группа фотографий в рамках на столике возле дивана. Я подошла и взяла в руки до боли знакомый снимок. Мой отец в армейской форме. Таким его сфотографировала моя мать на военной базе в Англии, где они познакомились в 1945 году. Это была первая и единственная в ее жизни заморская авантюра – больше она никогда не покидала берегов Америки. А тогда, по окончании колледжа, она записалась добровольцем в Красный Крест, и вышло так, что судьба забросила ее в штаб союзных войск под Лондоном, где она работала машинисткой. Там и произошла ее встреча с неотразимым Джеком Малоуном, репортером «Старз энд Страйпс», американского военного вестника. У них случился роман, побочным следствием которого оказался Чарли. С тех пор они не расставались.

Ко мне подошел Чарли. Он посмотрел на фотографию, которую я держала в руках.

– Хочешь забрать ее с собой? – спросила я.

Он покачал головой.

– У меня дома есть копия, – сказал он. – Это мое любимое отцовское фото.

– Тогда я возьму себе. У меня так мало его фотографий.

Мы молча постояли какое-то время, не зная, что еще сказать друг другу. Чарли нервно покусывал нижнюю губу.

– Тебе лучше? – спросила я.

– Да, все нормально, – сказал он, привычно отводя взгляд. – Ты справишься?

– Я? Конечно. – Ответ мой прозвучал бодро, как будто это не я только что похоронила свою мать.

– Сын у тебя замечательный. А это был твой бывший муж?

– Да... мой красавец. Ты разве не встречался ним прежде?

Чарли покачал головой.

– Ах да, я забыла. Ты ведь не был на моей свадьбе. А Мэтта не было в городе, когда ты приезжал в прошлый раз. В девяносто четвертом, кажется?

Чарли пропустил мимо ушей мой вопрос и вместо этого задал свой:

– Он по-прежнему работает в теленовостях?

– Да, только стал большой шишкой. Как и его новая жена.

– Да, мама говорила мне о твоём разводе.

– В самом деле? – удивилась я. – И когда же она успела? В тот раз, когда ты позвонил ей в девяносто пятом?

– Мы общались и позже.

– Ты прав, извини. Совсем забыла, ты ведь поздравлял ее с каждым Рождеством. Значит, во время очередного ежегодного поздравления ты и узнал, что Мэтт бросил меня.

– Я был очень огорчен.

– Ну, все это в прошлом. Я уже пережила.

Последовала еще одна неловкая пауза.

– Здесь мало что изменилось, – сказал он, оглядывая квартиру.

– Мама никогда не стремилась на страницы «Дома и сада», – сказала я. – Впрочем, если бы она даже захотела привести в порядок квартиру – а она не горела таким желанием, – с деньгами всегда было туго. Хорошо еще, что не повышали арендную плату, иначе ей пришлось бы отсюда съехать.

– Сколько сейчас берут за месяц?

– Тысячу восемьсот, что вполне терпимо для этого квартала. Но она все равно ворчала на дороговизну.

– А она что-нибудь унаследовала от дяди Рэя?

Рэй был брат матери, причем весьма состоятельный – крупный бостонский юрист, но он всегда держал дистанцию и не спешил помогать сестре. Насколько я могла судить, в детстве они не были особенно близки, а потом и вовсе разошлись, после того как Рэй и его жена Эдит открыто выразили недовольство ее замужеством. Но надо отдать должное Рэю: он все-таки соблюдал кодекс аристократа и «жил по правилам». Так что после скоропостижной смерти моего отца он помог сестре финансами, предложив оплачивать образование ее двоих детей. Возможно, потому, что у Рэя и Эдит не было своих детей (а мама была единственной родственницей Рэя), им была не в тягость такая благотворительность. Но, даже будучи детьми, мы с Чарли понимали, что наш дядя не хочет иметь с нами никаких отношений. Мы никогда его не видели. Мама тоже не встречалась с ним. На Рождество каждый из нас получал от него в подарок чек на двадцать долларов. Когда Чарли учился в бостонском колледже, Рэй ни разу не пригласил его в свой таунхаус в Бикон Хилл. Меня тоже не звали в гости, пока я училась в колледже Смита и раз в месяц навещалась в Бостон. Мама, объясняя нам причину его холодности, говорила: «В семье всякое бывает». И тем не менее следует отдать должное этому типу: благодаря его поддержке мы с Чарли имели возможность учиться в частных школах и колледжах. Но с тех пор как я в 1976 году окончила колледж Смита, мама больше не видела денег от брата и до конца своих дней остро нуждалась. Когда Рэй умер в 1998 году, я рассчитывала на

то, что маме перепадут кое-какие средства (тем более что Эдит опередила своего мужа, отправившись на тот свет тремя годами ранее). Но никакого наследства она так и не получила.

– Ты хочешь сказать, мама не говорила тебе, что Рэй не оставил ей ни цента? – спросила я.

– Она сказала только, что он умер, и больше ничего.

– Это когда ты звонил в девяносто восьмом?

Чарли уставился в пол.

– Да, верно, – тихо произнес он. – Но я и не думал, что ее вот так запросто вычеркнут из завещания.

– Да уж. Рэй все завещал сиделке, которая ухаживала за ним после смерти Эдит. Бедная наша мамочка, вечно ее облапошивали.

– И как же ей удавалось сводить концы с концами?

– У нее была маленькая пенсия от школы. Потом еще социальная страховка... вот, пожалуй, и все. Я предлагала ей свою помощь, но она, разумеется, отказывалась. Хотя я и могла себе это позволить.

– Ты все там же, в рекламном агентстве?

– Боюсь, что да.

– Но ты теперь, наверное, занимаешь высокий пост?

– Всего-навсего старший копирайтер.

– По мне, так звучит солидно.

– Деньги платят неплохие. Но в нашем деле есть такая присказка: «везучий копирайтер – это оксюморон». Хотя жаловаться грех: работа есть, к тому же позволяет оплачивать счета. Жаль только, что мама не разрешала мне оплачивать *ее* счета. Она твердо стояла на своем и ни за что не хотела брать у меня деньги. В общем, одно из двух: либо она подпольно играла в канасту, либо занималась прибыльным бизнесом от организации «Гёрлскауты».

– Ты намерена избавиться от этой квартиры? – спросил Чарли.

– Ну, уж точно не собираюсь устраивать здесь музей... – Я в упор посмотрела на него: – Знаешь, тебя ведь нет в завещании.

– Я... мм... не удивлен.

– Собственно, и наследовать-то особо нечего. Незадолго до смерти она сказала мне, что у нее есть небольшая страховка и какие-то акции. Может, тысяч на пятьдесят в общей сложности. Очень плохо, что ты не общался с ней в последние полгода. Поверь мне, она не хотела вычеркивать тебя из завещания и вопреки всему надеялась, что ты все-таки позвонишь хотя бы раз. После того как ей сказали, что рак неизлечим, она ведь *написала* тебе, разве не так?

– Она *ни словом* не обмолвилась в письме о том, что умирает, – сказал он.

– А что-то изменилось бы?

Он снова отвел взгляд. Мой голос был по-прежнему твердым и спокойным.

– Ты не ответил на ее письмо, ты не ответил на мои сообщения, которые я оставила на автоответчике. Что, должна сказать, было твоей стратегической ошибкой. Потому что, если бы ты показался ей на глаза, сейчас бы делил со мной эти пятьдесят штук.

– Я бы никогда не претендовал на долю...

– Ах да. *Принцесса* настояла бы...

– Не называй так Холли.

– С чего вдруг? Она ведь Леди Макбет в этой истории.

– Кейт, я действительно пытаюсь...

– Сделать что? «Залечить раны»? Достичь «согласия»?

– Послушай, я никогда не имел ничего против тебя.

– Я тронута. Очень жаль, что мама не видит этого. Она всегда наивно надеялась, что все помирятся и, возможно, она снова увидит своих внуков с Западного побережья.

– Я собирался позвонить...

– *Собирался* – этого недостаточно. *Собирался*, но не собрался.

Мой голос стал громче. До меня вдруг дошло, что гостиная опустела. Это заметил и Чарли, потому что он прошептал:

– Пожалуйста, Кейт... я не хочу возвращаться с таким плохим...

– Чарли, а чего ты ожидал, черт возьми? Мгновенного примирения? «*Поля чудес*»? Что посеешь, то и пожнешь, приятель.

Кто-то умиротворяюще коснулся моей руки. Тетя Мег.

– Отличная проповедь, Кейт, – сказала она. – И я уверена, Чарли уже уяснил твою точку зрения.

Я перевела дух. И, чуть успокоившись, произнесла:

– Да, я надеюсь.

– Чарли, сходи на кухню, налей себе что-нибудь выпить, – предложила Мег.

Чарли сделал, как велели. Драчунов развели по углам.

– Успокоилась? – спросила Мег.

– Успокоилась тут, как же, – проворчала я.

Она усадила меня на диван. Устроившись рядом, заговорщически зашептала мне:

– Отстань ты от парня. У меня с ним был разговор на кухне. Похоже, у него какие-то серьезные проблемы.

– Что еще за проблемы?

– Четыре месяца назад его сократили. «Фитцгиббон» перекупила какая-то голландская международная корпорация, и половину персонала сразу выгнали.

«Фитцгиббон» был фармацевтическим гигантом, и Чарли трудился там последние двадцать лет. Свою карьеру он начинал как торговый представитель в долине Сан-Фернандо, постепенно дорос до должности регионального директора продаж по округу Ориндж. И вот теперь...

– И насколько все серьезно? – спросила я.

– Суди сама: чтобы прилететь сюда, ему пришлось занять у друга денег на билет.

– Господи!

– А учитывая то, что двое его детей учатся в колледже, с точки зрения финансов положение у него критическое. Ему не позавидуешь.

Меня вдруг пронзило чувство вины. Бедный идиот. Всю жизнь Чарли не везет. Просто какой-то фатальный неудачник.

– Насколько я поняла, и на семейном фронте дела неважные. Принцесса явно не из тех жен, кто готов поддержать мужа в трудную минуту...

Мег вдруг резко замолчала, толкнув меня в бок локтем. Чарли вернулся в гостиную с переброшенным через руку плащом. Я встала.

– Почему с плащом? – спросила я.

– Мне нужно возвращаться в аэропорт, – сказал он.

– Но ты ведь только два часа как приехал, – возразила я.

– Завтра у меня очень важная встреча, – смутился он. – Собеседование. Я сейчас... ээ... без работы.

Я перехватила взгляд Мег, умоляющий не выдавать ее. Воистину семейная жизнь напоминает паутину, сплетенную из секретов и мелких заговоров типа «только не говори своему брату...».

– Мне очень больно это слышать, Чарли, – сказала я. – Извини, что я тебе столько всего наговорила. Сегодня тяжелый день и...

Чарли заставил меня замолчать, коснувшись моей щеки легким поцелуем.

– Будем на связи, хорошо? – сказал он.

– Все зависит от тебя, Чарли.

Брат оставил мою реплику без ответа. Он лишь печально пожал плечами и направился к двери. На пороге он обернулся. Мы встретились глазами. Наш молчаливый диалог длился всего долю секунды, но мы успели сказать друг другу: *прости меня, пожалуйста.*

И в это же мгновение я почувствовала огромную жалость к брату. Он был таким потерянным, побитым жизнью, загнанным в угол, словно олень в лучах направленных на него прожекторов. Жизнь обошлась с ним сурово, и теперь он был воплощенное разочарование. Я искренне сочувствовала ему, по себе зная, каково это – оказаться неудачником. Потому что, если бы не мой сын, меня бы точно нельзя было считать образчиком личного успеха.

– Прощай, Кейти, – сказал Чарли. Он открыл дверь.

Я отвернулась от брата и шагнула в туалет. Когда через пару минут я вышла оттуда, его уже не было, и я вздохнула с облегчением.

Порадовало и то, что гости начали прощаться. Среди них были парочка соседей, какие-то давние подруги матери – хрупкие старушки на восьмом десятке, пытающиеся вести светские разговоры, бодриться и не особо задумываться о том, что их сверстницы уходят из жизни одна за другой.

К трем часам разошлись все, кроме Мег и Розеллы – крупной жизнерадостной доминиканки средних лет, которую я наняла два года тому назад убираться в маминной квартире дважды в неделю. Вышло так, что она стала круглосуточной сиделкой, после того как мама выписалась из клиники Слоун-Кеттеринг.

– Я не хочу умирать в какой-то серой комнате с флуоресцентными лампами, – сказала она мне утром того дня, когда врач-онколог сообщил ей, что надежды больше нет.

– Ты не умрешь, мама, – услышала я собственный голос.

Она потянулась ко мне из постели и взяла мою руку:

– С эскулапами не совладать, дорогая.

– Доктор сказал, что это может длиться долгие месяцы...

Ее голос был спокойным и даже умиротворенным:

– Это если считать от начала болезни. А в моем положении – три недели максимум. И честно говоря, это даже больше, чем я ожидала...

– Но разве не ты учила меня, что нужно всегда, *всегда* надеяться на лучшее, мама? – О господи, что я несу? Я крепче сжала ее руку: – Я не то хотела сказать. Просто...

Она с укором посмотрела на меня.

– Неужели ты так ничего и не поняла во мне? – сказала она.

Прежде чем я подыскала нужные слова, она нажала кнопку вызова медсестры:

– Я собираюсь попросить медсестру помочь мне одеться и собрать вещи. Так что, если ты оставишь меня минут на пятнадцать...

– Я сама одену тебя, мама.

– Не стоит, дорогая.

– Но я хочу.

– Пойди лучше сделай себе чашечку кофе, дорогая. Медсестра сама со всем справится.

– Почему ты не хочешь позволить мне...? – заныла я, словно подросток.

Мама только улыбнулась, зная, что переиграла меня.

– А теперь иди, дорогая. Но не задерживайся дольше, чем на пятнадцать минут, потому что, если я не уйду отсюда до полудня, они выставят счет еще за сутки.

– И что с того? – Мне хотелось рвать и метать. – «Голубой крест» все равно оплатит.

Но я заранее знала, каким будет ее ответ.

Это несправедливо – подставлять такую хорошую и надежную компанию, как «Голубой крест».

Мне ничего не оставалось, кроме как в очередной (уже, наверное, миллионный) раз задуматься о том, почему мне никогда не удастся переспорить ее.

Неужели ты так ничего и не поняла во мне?

Черт возьми, она слишком хорошо меня знала. И, как всегда, попала прямо в точку. Я никогда не понимала ее. Не понимала, как ей удастся оставаться такой спокойной и собранной, сталкиваясь с бесконечными разочарованиями и невзгодами. По каким-то ее намекам (и из того, что рассказывал мне Чарли, когда мы еще общались) я догадывалась, что ее брак был не слишком-то счастливым. Муж умер молодым. Денег ей не оставил. Единственный сын отошел от семьи. А единственная дочь, мисс Недовольство, никак не могла взять в толк, почему ее мать отказывается скулить и причитать из-за жизненных неурядиц. И почему сейчас, в конце жизни, она так чертовски смиренна и не ропщет в преддверии скорой смерти. Но таков уж был ее стиль, волевой и несгибаемой женщины. Она ни разу, ни словом, ни жестом, не выдала своей печали, притаившейся за фасадом железобетонной стойкости.

И в своих прогнозах она не ошиблась. Конечно, ни о каких месяцах не могло быть и речи. Она не протянула и двух недель. Я наняла Розеллу круглосуточной сиделкой – при этом чувствуя себя виноватой, что не могу полностью посвятить себя матери. Но на работе я зашивалась с новым крупным заказом, а еще нужно было заниматься Этаном (я упрямо не хотела просить Мэтта об одолжении). Так что удавалось выкроить лишь три часа в день, чтобы побыть с матерью.

Конец был скорым. В прошлый вторник Розелла разбудила меня в четыре утра и просто сказала:

– Тебе нужно срочно приехать.

К счастью, я успела продумать экстренный план действий для такого случая, заранее договорившись со своей новой подругой, Кристиной, которая жила двумя этажами выше и была членом Клуба разведенных матерей. Несмотря на бурные протесты Этана, я подняла его с постели и отвела к Кристине, которая тут же уложила его спать на своем диване, забрала у меня его школьную форму и пообещала отвезти его утром на занятия в «Алан-Стивенсон».

Я бросилась вниз по лестнице, попросила консьержа вызвать мне такси и пообещала водителю пять баксов чаевых, если он доставит меня на другой конец города, на 84-ю улицу, за пятнадцать минут.

Он уложился в десять. И это было здорово, потому что мама скончалась через пять минут после того, как я вошла в дверь.

Я застала Розеллу стоящей в изножье кровати. Тихо всхлипывая, она обняла меня и прошептала:

– Она здесь, но уже не с нами.

Так хорошо она объяснила, что мама в коме. Честно говоря, это было облегчением для меня – потому что я втайне очень боялась сцены у смертного одра. Когда нужно сказать правильные прощальные слова. Но ведь *нет* таких слов, их не существует в природе. Как бы то ни было, теперь она все равно не могла меня слышать, и любые мелодраматические восклицания вроде «*Я люблю тебя, мама!*» можно было оставить при себе. В такие судьбоносные моменты любые слова пусты и бессмысленны. И уж, конечно, они не могли бы смягчить то чувство вины, которое меня терзало.

Поэтому я просто села на кровать, взяла еще теплую руку матери и крепко сжала ее, пытаясь вызвать в памяти свои первые воспоминания о ней. Я вдруг увидела ее жизнерадостной, красивой молодой женщиной, когда она вела меня, четырехлетнюю, за руку на детскую площадку в парк Риверсайд, а ведь тогда она была на пятнадцать лет моложе меня нынешней. Я подумала о том, что в памяти почему-то оживают именно такие, совершенно заурядные, моменты. Почему-то мы быстро забываем и эти прогулки в парк, и суматошные поездки к педиатру с тонзиллитом, и то, как мама ждала у школы после занятий, как мы с ней мотались по городу в поисках туфель и платьев, мчались на собрания «гёрлскаутов» и другие мероприятия, которыми забит родительский день. Я вспоминала, как мама всегда старалась быть рядом,

а я этого не замечала и ненавидела свои обязательства перед нею, а теперь мне было невыносимо жаль, что я не смогла сделать ее хоть чуточку счастливее. И опять перед глазами была я, четырехлетняя, на качелях вместе с мамой, и мы вновь взмывали в осеннее небо далекого пятьдесят девятого года, и светило солнце, и мне было так уютно в этом мире, рядом с хохочущей мамой, и...

Она сделала три судорожных вдоха. Потом стало тихо. Я просидела еще минут пятнадцать, не отпуская ее руку и чувствуя, как постепенно остывают ее пальцы. Наконец Розелла осторожно взяла меня за плечи и подняла. В ее глазах стояли слезы, чего нельзя было сказать обо мне. Возможно, я просто оцепенела от шока и не могла плакать.

Розелла наклонилась и закрыла матери глаза. Потом перекрестилась и прочитала молитву «Аве Мария». А я выполнила другой обряд: прошла в гостиную, налила себе большую дозу виски, залпом выпила, после чего сняла телефонную трубку и набрала номер 911.

– Что у вас случилось? – спросила оператор.

– У меня не экстренный случай, – сказала я. – Просто смерть.

– Смерть насильственная?

– Естественная.

А могла бы и добавить: *Очень тихая смерть. Дстойная. Благородная. Без нытья и жалоб.*

Моя мать умерла так, как жила.

И вот сейчас я стояла у постели матери, прислушиваясь к тому, как на кухне гремит посудой Розелла. Всего три дня назад здесь лежала мама. Непонятно почему, вдруг вспомнилась история, которую мне недавно рассказал парень по имени Дэйв Шредер. Он был фрилансером, писал для одного журнала: умен, как черт, объездил полмира, но в свои сорок все еще пытался прославиться. Я пару раз встретилась с ним. Он бросил меня, когда я отказалась переспать с ним после второго свидания. Дождись он третьего свидания, может, ему бы и повезло. Но как бы то ни было, он все-таки успел поведать мне о том, как находился в Берлине в ночь крушения стены, а потом, вернувшись туда год спустя, обнаружил, что это чудовищное сооружение – кровавый пережиток холодной войны – просто стерто с лица земли. Демонтирован даже знаменитый «Чекпойнт Чарли»¹, а на месте бывшей торговой миссии Болгарии на восточной стороне чекпойнта открылся торговый центр «Беннетона».

– Такое впечатление, что это жуткое место, этот краеугольный камень истории двадцатого века, вообще никогда не существовало, – сказал мне Дейв. – И я подумал: точка в споре ставится в тот момент, когда мы вычеркиваем из памяти саму историю этого спора. Как это свойственно человечеству: санировать прошлое, чтобы двигаться вперед.

Я снова посмотрела на постель моей матери. И вспомнила запачканные простыни, влажные подушки, вспомнила, как она царапала матрас, прежде чем забыться от морфия. Теперь постель была аккуратно застелена чистым бельем и покрывалом, только что из химчистки. Мысль о том, что она умерла именно здесь, уже казалась нереальной, абсурдной. Через неделю – после того, как мы с Розеллой упакуем вещи, а грузчики из «Гудвилл Индастриз» вывезут всю мебель, от которой я планировала избавиться, – какие еще останутся зримые доказательства присутствия моей матери на этой планете? Некоторые вещи (ее обручальное кольцо, пара брошек), несколько фотографий и...

Больше ничего – разумеется, за исключением того пространства, которое она навечно занимает в моей голове. Пространство, которое она теперь делила с отцом, мне совершенно незнакомым.

¹ Пограничный контрольно-пропускной пункт на улице Фридрих-штрассе в Берлине, созданный после разделения города Берлинской стеной. (*Здесь и далее примеч. пер.*)

А когда умрем мы с Чарли... *пустота*. Вот что останется от Дороти и Джека Малоунов. Их след в жизни будет навсегда стерт. Точно так же для меня последним пристанищем будет Этан. Пока он остается на земле...

Я содрогнулась, и мне вдруг стало зябко, так что захотелось согреться еще одной дозой виски. Я прошла на кухню. Розелла стояла у мойки, заканчивая с грязной посудой. Мег сидела за кухонным столом, и ее сигарета дымилась в блюдце (мама не держала в доме пепельниц), а рядом с наполненным стаканом стояла бутылка виски.

– Не смотри на меня с таким укором, – сказала Мег. – Я предлагала Розелле свою помощь.

– Я имела в виду твою сигарету, – сказала я.

– Мне не мешает, – заверила Розелла.

– Мама ненавидела табачный дым, – сказала я.

Отодвинув стул, я села, потянулась к пачке «Меритс», выбила себе сигарету и закурила. Мег удивленно взглянула на меня.

– Может, передать молнией в «Рейтер»? – сказала она. – Или в Си-эн-эн?

Расхохотавшись, я выпустила целый клуб дыма:

– Раз или два в году я балую себя. По особым случаям. Ну, вроде того, когда Мэтт объявил о своем уходе. Или когда мама позвонила мне в апреле, сообщив, что ложится в госпиталь на обследование, но уверена, что ничего страшного...

Мег налила в стакан щедрую порцию виски и подвинула его мне:

– До дна, дорогая.

Я послушно выполнила ее команду.

– Почему бы тебе не пойти вместе с тетей, – предложила Розелла. – Я закончу здесь сама.

– Я остаюсь, – сказала я.

– Глупо, – заметила Мег. – Кстати, я вчера обналичила свой чек соцстраховки, так что теперь я при деньгах, и страшно хочется чего-то холестерина... вроде бифштекса. Как ты смотришь на то, чтобы я заказала нам столик в «Смит и Волленски»? Ты когда-нибудь видела, какими дозами там подают мартини? Емкости размером с аквариум для золотых рыбок.

– Побереги свои деньги. Сегодня ночью я останусь здесь.

Мег и Розелла обменялись встревоженными взглядами.

– Что ты имеешь в виду?

– То, что собираюсь остаться здесь ночевать.

– Ну это уж совсем ни к чему, – сказала Розелла.

– Хочешь добить себя окончательно? – добавила Мег.

– Это решено. Я буду ночевать здесь.

– Что ж, тогда и я останусь, – сказала Мег.

– Нет, ты не останешься. Я хочу побыть одна.

– Но это безумие, – возмутилась Мег.

– Послушайся тети, – сказала Розелла. – Остаться здесь одной на всю ночь... это плохая мысль.

– Я справлюсь.

– Не будь такой самоуверенной, – сказала Мег.

Но разубедить меня было невозможно. Я расплатилась с Розеллой (она не хотела брать дополнительный платы, но я все-таки впихнула ей стодолларовую бумажку и наотрез отказалась забирать ее обратно) и часам к пяти наконец выпроводила Мег. Мы обе были навеселе, потому что я не отставала от нее, опрокидывая рюмку за рюмкой... и уже где-то после четвертой сбилась со счета.

– Знаешь, Кейти, – сказала она, когда я помогала ей надеть пальто, – я все-таки думаю, что ты мазохистка.

– Спасибо за столь откровенную оценку моих слабостей.

– Ты знаешь, что я имею в виду. Остаться одной в квартире покойной матери – хуже не придумаешь. Но ты делаешь именно это. И меня это просто бесит.

– Я просто хочу побыть одна. *Здесь*. Пока ничего отсюда не вывезли. Неужели ты не можешь этого понять?

– Конечно, могу. Точно так же, как понимаю, что такое мазохизм.

– Ты мне сейчас напоминаешь Мэтта. Он всегда говорил, что у меня настоящий талант быть несчастной.

– К черту этого придурка-карьериста. Тем более что он доказал свой талант *приносить* несчастье.

– Может, он и прав. Иногда я думаю...

Я замолчала, мне вдруг расхотелось произносить вслух свою мысль. Но Мег потребовала:

– Ну-ка давай выкладывай, что ты там думаешь.

– Я не знаю. Иногда мне кажется, что я все неправильно воспринимаю.

Мег закатила глаза:

– Добро пожаловать в ряды простых смертных, дорогая.

– Ты знаешь, о чем я.

– Нет. На самом деле я не знаю. Ты успешна во всем, что ты делаешь, у тебя замечательный ребенок...

– *Лучший* ребенок.

Мег поджала губы, и легкая тень грусти легла на ее лицо. Хотя она редко говорила об этом, я знала, что бездетность всегда была ее тайной болью. И я помнила, что она сказала, когда я объявила ей о своей беременности: «Поверь мне на слово. Хотя я и не вышла замуж, но у меня никогда не было недостатка в мужиках. И большинство из них – никчемные слабаки и мерзавцы, которые шарахаются от тебя, когда видят, что ты независимая баба. Единственное благо, что может дать тебе мужчина, – это ребенок».

«Тогда почему ты не воспользовалась этим и не родила?»

«Потому что тогда, в пятидесятые и шестидесятые – когда я это еще могла сделать, – быть матерью-одиночкой считалось дикостью, равносильной поддержке космической программы русских. Незамужняя мать тотчас получала клеймо изгоя – а у меня просто не хватило смелости противостоять общественному мнению. Наверное, в душе я все-таки трусиха».

«Вот уж кем бы ни назвала тебя, так это трусихой. Если уж зашел разговор, так в нашей семье трусихой всегда была я».

«Ты вышла замуж. Ждешь ребенка. И по мне, так это очень смелый поступок».

Она сразу же сменила тему разговора. Больше мы никогда не говорили об этом. Тоска по детям проскальзывала у нее лишь в такие моменты, как сейчас, – когда упоминание об Этане вызывало грусть, которую она тут же заливала алкоголем.

– Чертовски верно замечено, он лучший ребенок, – сказала она. – И плевать, что брак оказался неудачным. Зато посмотри, что ты из него вынесла.

– Я знаю...

– Так чего же тогда расстраиваться?

О господи... да я просто не знаю, как объяснить это неопределенное и в то же время разрушительное чувство – растущее недовольство собой и местом, которое ты занимаешь в жизни.

Но я была слишком усталой – и слишком пьяной, – чтобы ввязываться в беседу. Поэтому я просто кивнула головой в знак согласия и сказала:

– Я поняла тебя, Мег.

– Очень плохо, что твоя мать не воспитала тебя католичкой. Из тебя получилась бы настоящая кающаяся грешница.

Мы спустились вниз на лифте. Мег взяла меня под руку и повисла на мне. Консьерж вызвал для нас такси. Он распахнул дверцу, и я помогла Мег сесть в машину.

– Надеюсь, виски вырубит тебя, – сказала она, – потому что мне совсем не хочется, чтобы ты сидела там и думала, думала, думала...

– Не вижу ничего плохого в том, чтобы думать.

– Это опасно для твоего здоровья. – Она схватила меня за руку. – Позвони мне завтра – когда выйдешь из сумрака. Обещаешь?

– Да. Обещаю.

Она посмотрела мне в глаза.

– Ты мой ребенок, – сказала она.

Я поднялась вверх. Какое-то время я стояла перед дверью квартиры, не решаясь войти. И лишь когда волнение улеглось, переступила порог.

Тишина в квартире была пугающей. Моей первой мыслью было *бежать* отсюда. Но я заставила себя пройти на кухню и убрать оставшуюся посуду. Я два раза протерла стол, потом принялась за буфет. Достав банку с чистящим порошком «Комет», я хорошенько отдраила мойку. Прошла по комнатам с баллончиком спрея для мебели, отполировала все деревянные поверхности. Зашла в ванную. Я заставляла себя не замечать ободранных обоев и сырых пятен на потолке. Вооружившись ершиком, я принялась за работу. Отдраив унитаз, я переключилась на ванну, на которую потратила минут пятнадцать, но так и не сумела избавиться от въевшейся ржавчины вокруг сливного отверстия. Раковина оказалась еще более ржавой. С маниакальным упорством я продолжала скоблить ее... начисто позабыв о том, что занимаюсь уборкой в своем шикарном черном костюме (неоправданно дорогой и ужасно стильной двойке от «Армани», которой Мэтт поразил меня пять лет назад на Рождество; позже я поняла, что этим подарком он просто хотел искупить свою вину, поскольку уже второго января он преподнес мне новый сюрприз, объявив, что у него роман с некоей Блэр Бенгли, а потому он решил развестись со мной, и желательно немедленно).

Вскоре силы меня покинули, и я привалилась к раковине. Моя белая блузка взмокла, на лбу выступили капли пота. Отопление в квартире матери всегда приближалось к температурному режиму сауны, и мне нестерпимо захотелось встать под душ. Я открыла аптечный шкафчик в поисках мыла и шампуня. Передо мной оказались с десяток флаконов валиума, дюжина ампул морфия, упаковки иглол для подкожных инъекций, коробки с клизмами и длинный тонкий катетер, который Розелла должна была вставлять в уретру матери, чтобы обеспечить мочеиспускание. Мой взгляд переместился под туалетный столик, где были сложены упаковки памперсов для взрослых. Почему-то сразу подумалось: кто-то где-то производит весь этот хлам и успешно торгует им. И даже нет необходимости снижать цены, ведь спрос существует всегда. Потому что если и есть в жизни какая-то определенность, то ее можно сформулировать так: проживешь долго – закончишь в памперсах. Даже если тебе не повезет и, скажем, лет в сорок тебя сразит рак матки, все равно на финише тебя настигнут памперсы. И...

Случилось то, чего я старательно избегала на протяжении всего этого дня.

Не помню, как долго я плакала – горько и безутешно. Эмоциональные тормоза отказали. Я сдалась под натиском горя. Меня захлестнуло шквалом отчаяния и вины. Отчаяния оттого, что теперь я была совсем одна в этом большом и жестоком мире. А вины оттого, что всю свою сознательную жизнь я пыталась вырваться из-под опеки матери. Теперь, когда я навсегда освободилась от нее, меня мучил вопрос: а из-за чего, собственно, мы спорили?

Я крепко ухватила за края раковины. Резко подступила тошнота. Я упала на колени, и мне удалось вовремя поползти до унитаза. Виски. Еще виски. И желчь.

Я кое-как встала. Коричневатая слизь капала с моих губ на парадный черный костюм. Я подошла к умывальнику, включила холодную воду, подставила рот под струю. Потом схватила большую бутылку жидкости для полоскания «Лаворис» – почему только старушки покупают

«Лаворис»? – отвинтила пластиковую крышку, влила в себя добрые полпинты этой вязущей бурды со вкусом корицы, погоняла ее во рту и сплюнула в раковину. Потом побрела в спальню, на ходу скидывая с себя одежду.

Когда я добралась до кровати матери, на мне были только лифчик и колготки. Я порылась в ящиках комода в поисках майки... но тут вспомнила, что моя мама не принадлежала к поколению «Гэп». Так что пришлось остановить свой выбор на старенькой кремовой водолазке: винтаж сорок второго года из серии «пойти с ребенком на финал игры Гарвард-Йель». Сняв нижнее белье, я надела водолазку, натянув ее до колен. Она была в катышках, и шерсть щипала кожу. Но я не обращала внимания. Я откинула покрывало и забралась в постель. Несмотря на флоридскую жару в квартире, простыни оказались удивительно холодными. Я схватила подушку и прижала ее к себе, как будто сейчас она была единственной моей опорой.

Меня вдруг охватила острая потребность обнять своего сына. И я снова расплакалась, ощутив себя маленькой потеряшкой. Мне был отвратителен этот внезапный приступ жалости к себе. Вскоре комната начала раскачиваться, как лодка в мятежных волнах. И я провалилась в сон.

Начал трезвонить телефон.

Я не сразу очнулась. В комнате горел ночник. Я сощурилась, вглядываясь в экран будильника на тумбочке – из далеких семидесятых, он раздражал своими допотопными цифрами. 9.48 вечера. Я проспала около трех часов. Я сняла трубку. Удалось лишь пробормотать:

– Алло?

...мой голос был таким заспанным, что, должно быть, казался полукоматозным. На другом конце трубки повисла долгая пауза. Потом я расслышала женский голос:

– Извините, ошиблась номером.

Раздались короткие гудки. Я положила трубку. Погасила свет.

Накрылась одеялом с головой. И мысленно взмолилась, чтобы этот ужасный день поскорее закончился.

3

Я проснулась в шесть утра и, как ни странно, в приподнятом настроении. Должно быть потому, что впервые за последние пять месяцев я беспробудно спала целых восемь часов. Но тут хлынули потоком всяческие мысли. И я снова задалась вопросом: с чего я вдруг решила ночевать в постели матери?

Я встала, бодро прошла в ванную, мельком взглянула на свое отражение в зеркале и решила больше не злоупотреблять алкоголем. Я сходилa в туалет, освежила лицо холодной водой, прополоскала рот «Лаворисом»: теперь можно было покинуть квартиру, не чувствуя себя залежалым товаром.

Мой костюм провонял блевотиной. Одеваясь, я старалась не обращать внимания на этот запах, как и на плачевное состояние «двойки». Потом я заправила постель, схватила свое пальто, погасила везде свет и заперла за собой дверь. Мег была права: я действительно мазохистка. И я твердо решила для себя: в следующий раз я увижу эту квартиру, только когда приду сюда паковать вещи.

В столь ранний час можно было не бояться столкнуться с кем-то из маминых соседей в лифте или вестибюле. Для меня это было огромным облегчением, поскольку я сомневалась в том, что смогу выдержать еще хотя бы одно соболезнавание. Мне было не по себе и от мысли, что люди могли подумать, будто я пробуюсь на роль в женском римейке фильма «Пропавший выходной». Ночной консьерж, дремавший в кресле у электрического камина в вестибюле, кажется, даже не заметил, как я проشمыгнула мимо. По Вест-Энддерис авеню курсировало с десятка два свободных такси. Я остановила машину, сообщила водителю свой адрес и плюхнулась на заднее сиденье.

Даже для такого закоренелого аборигена, как я, есть что-то завораживающее в рассветном Манхэттене. Возможно, все дело в пустынных улицах. Или меркнушем свете фонарей на фоне восходящего солнца. Все вокруг какое-то притихшее, эфемерное. И нет этой маниакальной городской суеты. В воздухе разлито ощущение неопределенности и ожидания. На рассвете ни в чем нельзя быть уверенным... и в то же время все представляется возможным.

Но вот ночь уходит. Манхэттен начинает надрываться от крика. Реальность больно кусается. Потому что при свете дня все возможности разом исчезают.

Я живу на 74-й улице, между Второй и Третьей авеню. Мой дом – уродливое приземистое здание из белого кирпича, венец творческой мысли застройщиков шестидесятых, а ныне угрюмый осколок городского пейзажа Верхнего Ист-Сайда. Будучи девушкой из Вест-Сайда (по рождению и воспитанию!), я всегда считала эту часть города урбанистическим эквивалентом ванильного мороженого: скучным, пресным, без изюминки. До замужества я много лет прожила на пересечении 106-й улицы и Бродвея, которые можно было считать какими угодно, только не унылыми. Я обожала свой пышущий жизнью квартал, с его гаитянскими бакалейными лавками, пуэрто-риканскими винными погребками, старыми еврейскими закусочными, хорошими книжными лавками возле Колумбийского университета, джазовыми композициями из альбома «Ноу кавер ноу минимум» в «Вест-Энд кафе». Но моя квартира – хотя и безумно дешевая – была крохотной. И Мэтт настоял на том, чтобы мы переехали в двухкомнатную квартиру на 74-й улице (которая перешла к нему после смерти его деда). Конечно, при арендной плате в 1600 долларов это была выгодная сделка, не говоря уже о том, что квартира была куда более просторной в сравнении с моей холостяцкой «одиночкой».

Но мы оба ненавидели эту квартиру. Особенно Мэтт, который стыдился того, что живет в столь непрестижном месте, и постоянно твердил, что мы переедем во Флэтайрон или Грэмерсипарк, как только он оставит свою низкооплачиваемую работу на Пи-би-эс и получит должность старшего продюсера на Эн-би-си.

Что ж, высокий пост на Эн-би-си он получил. Как и роскошную квартиру во Флэтайрон – вместе со своей стриженной блондинкой, «Говорящей головой», Блэр Бентли. А я так и осталась в ненавистной съемной квартире на 74-й улице, из которой сейчас не могу выбраться, потому что она слишком привлекательна по цене (у меня есть подруги с детьми, которые за эти 1600 долларов в месяц не могут найти даже комнату в «Астории»).

Константин, утренний консьерж, был на дежурстве, когда я подъехала к дому. Лет под шестьдесят, из первого поколения греческих иммигрантов, он до сих пор проживал со своей матерью в «Астории» и явно не испытывал симпатии к разведенным женщинам с детьми... особенно к тем вульгарным гарпиям, которым не сидится дома и приходится мотаться в поисках заработка. К тому же у него были ярко выраженные задатки сельского стукача: он зорко следил за жильцами, вечно приставал с навоящими вопросами, не оставляющими сомнений в том, что он собирает на вас досье. У меня резко упало настроение, когда он открыл дверцу такси. Было заметно, что мой потрепанный вид вызвал у него живейший интерес.

– Поздняя ночь, мисс Малоун? – спросил он.

– Нет, раннее утро.

– Как наш маленький герой?

– Отлично.

– Спит наверху?

Еще бы. Всю ночь один дома, играл с коллекцией охотничьих ножей, попутно просматривая мою обширную садомазохистскую видеотеку.

– Нет. Сегодня он ночует у отца.

– Передавайте от меня привет Мэтту, мисс Малоун.

О, спасибо. И да, от меня конечно же не ускользнуло, с каким выражением ты произнес мисс.

Не видать тебе рождественских чаевых, *malacca* (это единственное греческое ругательство, которое я знаю).

Я поднялась на лифте на четвертый этаж. Открыла три замка своей двери. Квартира встретила меня жутковатой тишиной. Я прошла в комнату Этана. Села на его кровать. Погладила подушку в наволочке с «могучими рейнджерами» (да, я считаю «могучих рейнджеров» верхом тупости, но попробуй поспорить об эстетике с семилетним мальчишкой). Оглядела подарки из серии «искупление вины», которые недавно купил ему Мэтт (компьютер iMac, десятки компакт-дисков, супермодные ролики). Посмотрела на свои подарки из этой же серии (шагающая Годзилла, полный комплект фигурок «могучих рейнджеров», наборы пазлов). Мне стало грустно. Сколько же хлама приобретено в попытках смягчить муки совести. Те самые муки, что терзали меня два-три раза в неделю, когда приходилось допоздна задерживаться в офисе или идти на деловой ужин, и я была вынуждена просить Клэр (нашу австралийскую дневную няню, которая забирает Этана из школы и присматривает за ним до моего возвращения) остаться на вечер. Хотя Этан редко упрекает меня за эти вечерние отсутствия, я ужасно переживаю... и боюсь, что, если Этан вырастет психопатом (или, не дай бог, пристрастится к наркотикам лет в шестнадцать), причиной тому будет именно моя сверхурочная работа. Работа, которая, стоит заметить, нужна мне для того, чтобы платить за квартиру, вносить свою половину за его учебу, оплачивать счета... и (добавлю) чтобы хоть как-то упорядочить свою жизнь и наполнить ее смыслом. Поверьте на слово, в наше время такие женщины, как я, не имеют шансов на успех. Постфеминистские лозунги о «семейных ценностях» вбили нам в голову, что «детям нужна мама-домохозяйка». И есть немало печальных примеров того, как некоторые представительницы моего поколения, избравшие для себя роль «мамы-клуши», осели за городом и потихоньку тупеют там.

Если же ты ко всему прочему еще и *разведенная* работающая мама, ощущение вины становится всепоглощающим... мало того, что тебя *нет* дома, когда твой сын приходит из школы,

но своим отсутствием ты еще лишаешь ребенка чувства защищенности. У меня до сих пор перед глазами лицо Этана, застывшее от страха и недоумения, когда пять лет тому назад я попыталась объяснить ему, что отныне его папа будет жить в другом месте.

Я посмотрела на часы. Шесть сорок восемь. Меня так и подмывало взять такси и помчаться к дому Мэтта. Но тут я представила, как слоняюсь, словно неприкаянная, возле его подъезда в ожидании, пока они выйдут. К тому же я боялась наткнуться на *Нее*, и тогда прощай, моя хваленая выдержка (ха!). Как бы то ни было, Этана могло сбить с толку мое появление у дома отца – и вдруг бы он решил (как уже не раз намекал мне в последнее время), будто мама с папой снова вместе. Что в принципе невозможно. Никогда.

Все кончилось тем, что я оказалась в спальне, где сняла с себя вонючий костюм, а потом минут десять стояла под обжигающе горячим душем. Окончательно придя в себя, я надела халат, замотала голову полотенцем и пошла на кухню варить кофе. Пока грелся чайник, я включила автоответчик и прослушала накопившиеся за вчерашний день сообщения.

Всего их было девять – пять от друзей и сослуживцев, с привычным набором соболезнований и общепринятых фраз вроде: *всегда можешь рассчитывать на нашу помощь*. (Что, впрочем, все равно звучало трогательно.) Было одно сообщение от Мэтта – вчера в половине девятого он звонил сказать, что у Этана все хорошо, они прекрасно провели время и сейчас он уже в постели, и... «всегда можешь рассчитывать на мою помощь».

Поздно, приятель. Слишком поздно.

Был звонок и от Мег, что вполне естественно. Мег была в своем репертуаре.

«Привет, это я, просто подумала, вдруг в тебе проснулся здравый смысл и ты вернулась домой. Похоже, я ошиблась. Ладно, не буду тебя беспокоить в квартире матери, потому что а) боюсь получить по ушам, и б) тебе, наверное, чертовски хочется побыть одной. Но если ты решила, что на сегодня с тебя хватит и *пришла* домой, позвони мне... только в разумное время. Напоминаю, что для меня это до трех утра. Люблю тебя, милая. Поцелуй за меня Этана. И продолжай принимать лекарство».

Лекарство для Мег – это синоним виски.

И наконец, было два звонка от неизвестного абонента, который не оставил сообщения. Первый пришел (если верить таймеру автоответчика) в 6.08; а второй – в 9.44 вечера. Оба звонка сопровождались странным молчанием... видимо, человек размышлял, стоит ли говорить с автоответчиком. Ненавижу, когда так делают. Потому что это порождает страх неизвестности, неуверенность. В такие моменты я чувствую себя беззащитной и беспомощной.

Засвистел чайник. Я сняла его с плиты, схватила банку молотого крепчайшего «Френч роуст» и засыпала в кофеварку столько кофе, что его хватило бы на семь чашек. Залила кипяток и опустила поршень. Потом налила себе большую чашку кофе. И быстро выпила его. Налила следующую чашку. После очередного обжигающего глотка (у меня жаропрочный рот) я взглянула на часы (7.12 утра) и решила, что пора позвонить Мэтту.

– А...л...л...о?

Голос на другом конце трубки был заспанным и явно женским.

Она.

– Мм... привет... – как-то коряво произнесла я. – Ээ... а Этан есть?

– Этан? Кто такой Этан?

– А сама ты как думаешь?

Это разбудило ее.

– Прошу меня извинить. *Этан*. Конечно, я знаю, кто...

– Могу я поговорить с ним?

– Он еще у нас? – спросила она.

– Ну, на этот вопрос я вряд ли отвечу, потому что я точно *не* у вас.

Она совершенно растерялась:

– Я сейчас посмотрю... Это ты, Кейт?

– Угадала.

– Послушай, я собиралась написать тебе... но раз уж ты позвонила, я просто хотела сказать...

Ближе к делу, тупица.

– Знаешь... я очень, очень огорчена известием о смерти твоей мамы.

– Спасибо.

– И... эээ... если я могу хоть чем-то помочь...

– Можешь. Передай трубку Этану, пожалуйста.

– Ээ... конечно.

Было слышно, как *Она* шепчется с кем-то. Потом трубку взял Мэтт:

– Привет, Кейт. Я просто хотел узнать, как все прошло вчера вечером.

– Потрясающе. Сто лет так не веселилась.

– Ты знаешь, о чем я.

Я сделала глоток кофе:

– Справилась. А сейчас могу я поговорить с Этаном?

– Конечно, – сказал Мэтт. – Он рядом.

Я слышала, как Мэтт передает ему трубку.

– Дорогой, как ты там? – спросила я.

– Привет, мам, – сонным голосом произнес Этан. Мое сердце радостно забилося. Для меня Этан – тонизирующее мгновенного действия.

– Чем занимался мой любимый мужчина?

– В «Имаке» крутой фильм был. Там люди взбирались на гору, а потом пошел снег, и они попали в беду.

– Как называлась гора?

– Забыл.

Я рассмеялась.

– А после кино мы пошли в магазин игрушек.

Кто бы сомневался.

– И что тебе купил папа?

– Диск с «Могучими рейнджерами».

Круто.

– И космический корабль «Лего». Потом мы поехали на телестудию...

Так. А вот это уже ни в какие ворота не лезет.

– ...и там была Блэр. Она привела нас с папой в комнату, где они говорят в камеру. И мы видели ее по телевизору.

– Похоже, у тебя был отличный день.

– Блэр действительно смотрелась круто. А потом мы все вместе пошли в ресторан. Во Всемирном торговом центре. Оттуда виден весь город. И как раз пролетал вертолет. И многие подходили к нашему столику, просили у Блэр автограф...

– Ты скучаешь по мне, милый...? – вырвалось у меня.

– Да, конечно, мам, – произнес он с легким раздражением. Я вдруг почувствовала себя полной идиоткой.

– Я люблю тебя, Этан.

– Пока, мам, – сказал он и повесил трубку.

Дура, дура, дура. Размечталась, будто так уж нужна ребенку.

Я стояла у телефона, мысленно приказывая себе не раскисать (хватит с меня слез). Немного успокоившись, я налила себе еще кофе, прошла в гостиную и плюхнулась на мягкий диван – наше последнее совместное приобретение перед драматическим уходом Мэтта.

На самом деле он не исчез из моей жизни. В этом отчасти и заключалась проблема. Если бы у нас не было Этана, разрыв произошел бы куда легче. Потому что после шока, злости и отчаяния первых дней я бы, по крайней мере, утешилась мыслью, что больше никогда не увижу этого парня.

Но Этан означает, что, нравится это нам или нет, мы должны продолжать *взаимодействовать, сосуществовать, мириться с присутствием друг друга в нашей жизни* (как хочешь это назови). Помню, на процессе «примирения», который предшествует разводу, Мэтт сказал: «Ради общего блага мы должны слегка разрядить наши отношения». Что, собственно, и было сделано. Вот уже пять лет мы обходимся без крика. Относимся друг к другу (более или менее) корректно. Постепенно я пришла к выводу, что наш брак изначально был огромной ошибкой. Но несмотря на все мои старания «закрыть тему», рана до сих пор кровоточит, как это ни печально.

Когда я недавно обмолвилась об этом Мег, во время одной из наших еженедельных пьянок, она сказала: «Дорогая, ты можешь сколько угодно убеждать себя в том, что он не твой мужчина и что все это было грандиозным самообманом. Но факт остается фактом: ты *никогда* не оправившись от этого удара. Потрясение слишком сильное, такое не забывается. Боль останется навсегда. Ничего не поделаешь: жизнь – это накопление разочарований, больших и малых. Но победители – а ты, дорогая, определенно относишься к этой категории – находят способ преодолеть невзгоды. Нравится нам это или нет, но отрицательный опыт поучителен. Потому что заставляет задуматься об истинной природе вещей. И кстати, Бог не зря придумал алкоголь».

Пожалуй, стоит принять на веру ее оптимистический ирландско-католический взгляд на жизнь.

«Ради общего блага мы должны слегка разрядить наши отношения».

Да, Мэтт, я полностью с тобой согласна. Беда в том, что я до сих пор не знаю, как забыть обиду. Когда я сижу в нашей гостиной, меня мучает вопрос: почему все так непредсказуемо? Взять хоть бы интерьер этой квартиры. Большой диван с подушками, в стильной кремовой обивке (кажется, этот цвет назывался «капучино»). Два кресла из этого же гарнитура, пара изящных итальянских напольных ламп, длинный журнальный столик, заваленный журналами. Мы столько времени по тратили, продумывая этот ансамбль. А сколько спорили насчет пола из бука, который в итоге все-таки настелили в этой комнате. И кухонной мебели из серой стали в стиле хайтек, которую выбрали в «ИКЕА» в Джерси (да, мы так серьезно отнеслись к строительству нашей совместной жизни, что даже не поленились съездить в Нью-Джерси, чтобы подобрать кухню). С таким же энтузиазмом мы покупали ковер овсяного цвета, заменивший ужасную циновку цвета аквамарин, с которой жил твой дед. И кровать «под старину» с поломом на четырех столбиках, которая влетела нам в 3200 долларов.

Вот почему наша гостиная до сих пор вызывает во мне столько эмоций. Ведь она живой свидетель наших споров по поводу так называемого «общего будущего», притом что двое вовлеченных в нее людей втайне не верили в него. Мы просто случайно встретились на каком-то этапе жизни, когда нам обоим хотелось привязанности. И мы убедили себя в том, что совместимы и должны быть вместе.

Просто удивительно, с какой легкостью мы ввязываемся в отношения, которые заведомо непрочны, непродолжительны. Видимо, потребность быть нужным кому-то заставляет закрыть глаза на многое.

Звонок домашнего телефона прервал мои философствования. Я спрыгнула с дивана, бросилась на кухню и схватила трубку.

- Извините за беспокойство, мисс Малоун.
- Да, Константин?
- У меня для вас письмо.

- Я думала, почту приносят не раньше одиннадцати.
- Оно пришло не по почте... его передали из рук в руки.
- В каком смысле?
- В том смысле, что его доставили лично.

Что за черт!

- Это я поняла, Константин. Меня интересует, когда его доставили и кто.
- Когда? Пять минут назад, вот когда.

Я посмотрела на часы. Семь тридцать шесть. Кто посылает курьера с письмом в столь ранний час?

- А кто принес, Константин?
- Не знаю. Подъехало такси, женщина опустила стекло, спросила, живете ли вы здесь, я сказал, что да, и она вручила мне письмо.
- Значит, письмо доставила женщина?
- Совершенно верно.
- А что за женщина?
- Не знаю.
- Вы ее не видели?
- Она сидела в такси.
- Но в такси есть окно.
- Оно отсвечивало.
- Но вы ведь успели заметить...
- Послушайте, мисс Малоун, я видел то, что видел, и это было ровным счетом *ничего*.
- Хорошо, хорошо, – поспешно произнесла я, чтобы положить конец его нескончаемой тупой болтовне. – Пришлите письмо наверх.

Я прошла в спальню, натянула джинсы и толстовку, прошлась расческой по спутанным волосам. Раздался звонок в дверь, но, когда я приоткрыла ее (не снимая цепочки, как принято у страдающих паранойей жителей Нью-Йорка), никого не увидела. Только маленький конверт лежал на пороге.

Я подняла конверт и захлопнула дверь. Конверт был размером с почтовую открытку, из добротной бумаги. Серо-голубой, с рифленой поверхностью, очень приятной на ощупь. На конверте были написаны мое имя и адрес. Почерк был мелкий и аккуратный. В правом верхнем углу можно было прочесть «*С нарочным*».

Я осторожно вскрыла конверт. Приподняв клапан, я увидела верхний край открытки с рельефно набранным адресом:

346 Вест 77-я улица
Кв. 2В
Нью-Йорк, Нью-Йорк 10024
(212) 555.0745

Моей первой мыслью было: «Интересно». Я достала открытку из конверта.

Она была написана таким же мелким и аккуратным почерком. Датирована вчерашним днем. Я начала читать:

Дорогая мисс Малоун,

Я глубоко огорчилась, узнав из газеты «Нью-Йорк таймс» о смерти вашей матери.

Хотя мы с вами долгие годы не виделись, я знала вас еще маленькой девочкой, так же как знала тогда и ваших родителей... но, к сожалению, потеряла связь с вашей семьей после смерти вашего отца.

Я просто хотела выразить вам свои соболезнования в это сложное для вас время и сказать, что кое-кто по-прежнему присматривает за вами... как это было всегда.

*Искренне ваша,
Сара Смайт.*

Я перечитала письмо. И еще раз. Сара Смайт? Никогда о ней не слышала. Но что особенно заинтриговало меня, так это фраза *«кое-кто по-прежнему присматривает за вами... как это было всегда»*.

– Позволь спросить, – сказала Мег, когда я часом позже разбудила ее телефонным звонком, чтобы прочитать это письмо, – «кое-кто» с заглавной буквы?

– Нет, – ответила я. – С маленькой.

– Значит, здесь нет религиозного подтекста. Если было бы с заглавной, имелся бы в виду тот парень, что на небесах, Господь Всемогуший. Это альфа и омега. Лорел и Харди².

– Но ты уверена, что никогда не слышала, чтобы мама или папа упоминали о Саре Смайт?

– Послушай, я же не была членом вашей семьи, поэтому меня не обязательно было знать со всеми, кто дружил с твоими родителями. Я хочу сказать, что вряд ли, например, твои родители знали некоего Кароли Килсовски.

– Кто такой этот Кароли... как его там?

– Килсовски. Это польский джазмен, которого я подцепила в один ноябрьский вечер пятьдесят первого в «Бердлэнд». Постель обернулась полной катастрофой, но парень оказался приятным собеседником и, кстати, неплохим саксофонистом.

– Я что-то не понимаю...

– Да все очень просто. Мы с твоим отцом прекрасно общались, но не ели из одной миски. Насколько я могу судить, эта Сара Смайт была в числе их лучших друзей. Конечно, если учесть, что все это было лет сорок пять тому назад...

– Ладно, я тебя поняла. Но вот что странно: почему она доставила письмо по моему адресу? Откуда она узнала, где я живу?

– А у тебя что, адрес не зарегистрирован в справочнике?

– Уф, я как-то не подумала.

– Ну вот тебе и ответ на вопрос. А насчет того, почему она прислала его... понятия не имею. Может, она прочла объявление во вчерашней «Таймс», поняла, что пропустила похороны, ей не хотелось запаздывать с соболезнованиями, и она решила забросить тебе письмо по пути на работу.

– Тебе не кажется, что здесь слишком много совпадений?

– Дорогая, тебе нужны версии, я тебе предложила одну.

– Ты думаешь, я принимаю это слишком близко к сердцу?

– Я думаю, что ты слишком устала, что вполне естественно. И чересчур преувеличиваешь значение этой безобидной открытки. Но послушай, если уж тебя так распирает от любопытства, позвони этой даме. Я так понимаю, ее телефон указан в письме?

– Мне незачем ей звонить.

– Тогда *не* звони. А пока обещаю тебе, что не отправлюсь снова ночевать в квартиру матери.

– Я и без тебя уже решила, что не пойду.

– Рада слышать. А то я уж начала волноваться, не превратишься ли ты в какого-нибудь психопатического персонажа Теннесси Уильямса. Нарядишься в мамино свадебное платье. Напьешься чистого бурбона. И начнешь вещать: *«Его звали Борегар, он был женатым парнем, и это он разбил мое сердце...»*

² Популярная американская комедийная пара.

Она сама оборвала этот поток иронии.

– Прости, дорогая, – сказала она. – Несу всякую чушь.

– Да ладно, проехали, – ответила я.

– Иногда я просто не могу вовремя остановиться.

– У Малоунов это семейное.

– Мне так стыдно, Кейти...

– Ну хватит. Я уже забыла.

– А я собиралась произнести еще несколько слов раскаяния.

– Ну, если тебе от этого станет легче... Я позвоню тебе попозже, договорились?

Я налила себе еще кофе и вернулась на диван. Отпила кофе, поставила кружку на стол и легла, прикрыв глаза рукой, пытаюсь забыться.

Его звали Борегар, он был женатым парнем, и это он разбил мое сердце...

На самом деле его звали Питер. Питер Харрисон. Он был моим парнем до того, как я познакомилась с Мэттом. К тому же он был моим боссом. И он был женат.

Позвольте кое-что прояснить. Меня нельзя назвать романтической натурой. И я не из тех, кто легко теряет голову. Я не падка на деньги. Все четыре года учебы в колледже Смита я провела без бойфренда (хотя изредка и флиртовала, если возникала потребность в острых ощущениях). Когда после колледжа я попала в Нью-Йорк – и получила временную работу в рекламном агентстве (сомнительный ангажемент на месяц, с которого, собственно, и началась моя карьера), – недостатка в мужской компании у меня не было. Но сексуальный опыт, приобретенный мною в тот период, сплошь состоял из ошибок. Нельзя сказать, чтобы я была фригидной. Просто я не встретила никого, кто вызвал бы во мне настоящую, сумасшедшую страсть.

Пока мне не повстречался Питер Харрисон.

О, я была такой глупой. И все было так предсказуемо. Мне уже перевалило за тридцать. Я только что устроилась в новое агентство – «Хардинг, Тайрелл и Барни». А нанимал меня Питер Харрисон. Ему было сорок два. Женат. Двое детей. Красив (разумеется). Умен, как черт. Весь первый месяц моей работы в офисе между нами ощущалась незримая связь, мы как будто на расстоянии чувствовали присутствие друг друга. Где бы мы ни встретились – в коридоре, в лифте, на совещании, – наши лица расплывались в улыбке. И в то же время за фасадом банального трепса угадывалась скрытая нервозность. Мы вдруг стали смущаться при встречах. Притом что ни он, ни я не отличались стеснительностью.

И вот однажды, ближе к концу рабочего дня, он заглянул ко мне в кабинет. Пригласил выпить. Мы отправились в бар за углом. И, разговорившись, уже не могли остановиться. Мы проболтали два часа, как старые добрые знакомые, родственные души. Мы слились в единое целое. Когда он взял мою руку и сказал: «*Давай уйдем отсюда*», я ни секунды не раздумывала. К этому времени я уже хотела его так отчаянно, что готова была запрыгнуть на него прямо в баре.

Только уже потом, ночью – лежа рядом с ним в постели и признаваясь ему в том, что без ума от него (и слыша его ответные признания), – я осмелилась задать вопрос, мучивший меня весь вечер. Он ответил, что между ним и его женой, Джейн, нет никаких особых разногласий. Они вместе уже одиннадцать лет. Все устоялось. Они обожают своих дочек. У них красивая жизнь. Но красивая жизнь не означает страстную любовь. Эта составляющая их брака давно угасла.

Я спросила:

– Тогда почему бы не доставлять себе маленькие радости на стороне?

– Я пытался, – сказал он. – Пока не встретил тебя.

– И что теперь?

Он притянул меня к себе:

– Теперь я тебя не отпущу.

Вот так все и началось. Весь следующий год он действительно не отпускал меня. Он проводил со мной каждую свободную минуту. Но мне было этого мало... хотя такие ограничения и подогревали наш роман. Ненавижу слово «роман», есть в нем какой-то пошловатый, грязный подтекст. Это была любовь. Любовь с шести до восьми вечера, два раза в неделю, в моей квартире. И иногда во время ланча, в каком-нибудь городском отеле, подальше от нашего офиса. Конечно, мне хотелось видеть его чаще. Когда его не было рядом – особенно вечерами, – я страдала. Это было какое-то помешательство. Потому что впервые в жизни я встретила человека, созданного для меня. В то же время я старалась не давать воли чувствам и держаться в рамках приличий. Мы оба знали, в какую опасную игру ввязались и какие страшные последствия ожидают нас обоих, если вокруг нас поползут сплетни... или, хуже того, если обо всем узнает Джейн.

Поэтому на работе мы демонстрировали полный официоз. Он ловко маскировался и перед женой – никогда не задерживался у меня дольше положенного, чтобы не вызвать лишних подозрений, держал у меня тот же набор мыла, шампуней и прочей парфюмерии, что и у себя дома, никогда не разрешал мне впиваться ногтями в спину.

– С каким удовольствием я это сделаю в первую ночь нашей совместной жизни, – сказала я, поглаживая его голые плечи. Был декабрьский вечер незадолго до Рождества. Мы лежали в постели, среди скомканных простыней, наши тела еще были влажными после бурного секса.

– Ловлю тебя на слове, – сказал он, награждая меня чувственным поцелуем. – Потому что я решил все рассказать Джейн.

Я едва не задохнулась от волнения:

– Ты серьезно?

– Серьезнее не бывает.

Я посмотрела ему в глаза:

– Ты абсолютно уверен?

Без тени колебания он произнес:

– Да, абсолютно.

Мы договорились, что он поговорит с Джейн только после Рождества – в конце концов, четыре недели можно было подождать. И еще мы договорились, что я сейчас же начну подыскивать для нас квартиру. Изрядно оттоптав ноги, я наконец нашла замечательную двухкомнатную квартиру с боковым видом на реку на пересечении Риверсайд и 112-й улицы. Это случилось незадолго до Рождества. Я решила устроить Питеру грандиозный сюрприз, пригласив его на следующий день (когда мы, как обычно, должны были встретиться у меня около шести) в наш будущий дом. Он задержался на час. Едва он переступил порог, как мне стало страшно. Я поняла: случилось что-то очень плохое. Он тяжело опустился на диван. Я тут же под села к нему, взяла его за руку:

– Рассказывай, дорогой.

Он избегал смотреть мне в глаза.

– Кажется... я переезжаю в Лос-Анджелес.

До меня не сразу дошло.

– В Лос-Анджелес? Ты? Я не понимаю.

– Вчера вечером, около пяти, мне в офис позвонили. Секретарша Боба Хардинга. Попросила зайти к боссу. Вроде как *tout de suite*³. Я поднялся на тридцать второй этаж, в кабинет нашего главного. Там уже сидели Дэн Дауни и Билл Малоуни из департамента корпоративной политики. Хардинг пригласил меня присоединиться к ним и перешел сразу к делу. Крейтон Андерсон – глава лос-анджелесского офиса – объявил о своем переезде в Лондон, где ему

³ *Tout de suite* (фр.) – срочно.

предложили возглавить крупное подразделение «Саатчи энд Саатчи»⁴. Таким образом, место главы лос-анджелесского офиса освободилось, и Хардинг, оказывается, уже давно имеет на меня виды, так что...

– Тебе предложили работу?

Он кивнул. Я сжала его руку:

– Но это же здорово, дорогой. Это именно то, чего мы хотели. Начать с чистого листа. Построить новую жизнь вместе. Конечно, если устроить меня на работу в лос-анджелесский офис проблематично – это не беда. В Лос-Анджелесе масса возможностей, я что-нибудь подыщу себе. Я бы могла...

Он прервал мой сбивчивый, взволнованный монолог:

– Кейти, пожалуйста...

Его голос звучал еле слышно. Наконец он повернулся ко мне. Его лицо осунулось, глаза были красные. Мне вдруг стало не по себе.

– Ты сказал ей первой, да? – спросила я.

Он снова отвернулся:

– Я должен был. Она моя жена.

– Я тебе не верю.

– Боб Хардинг сказал, что я должен дать ответ до конца сегодняшнего дня, и он понимает, что мне прежде всего нужно обсудить это с Джейн...

– Но ведь ты собирался уйти от Джейн, ты не забыл? Тогда почему ты не поговорил в первую очередь с той, с кем собирался строить новую жизнь? *Со мной*.

Он печально пожал плечами и сказал:

– Ты права.

– Ну и что именно ты сказал ей?

– Я рассказал ей о предложении, о том, что это отличная возможность для карьерного роста...

– И *ничего* про нас?

– Я собирался... но она расплакалась. Начала говорить, что не хочет меня терять, давно замечает, что мы отдалились друг от друга, но боялась даже заикнуться об этом. Потому что...

Он замолчал. Питер – мой уверенный в себе, надежный, бесстрашный мужчина, всегда четко формулирующий свои мысли, – вдруг проглотил язык и поджал хвост.

– Потому что *что*? – спросила я.

– Потому что, – он с трудом сглотнул, – она подумала, что у меня кто-то есть.

– И что ты сказал?

Он упорно смотрел в сторону – как будто ему было невыносимо видеть меня.

– Питер, ты должен сказать мне.

Он встал и подошел к окну, уставившись в декабрьскую темень.

– Я заверил ее... что в моей жизни нет никого, кроме нее.

Мне понадобилось какое-то время, чтобы переварить это.

– Ты не мог так сказать, – глухо прозвучал мой голос. – Скажи мне, что ты этого не говорил.

Он продолжал смотреть в окно, стоя спиной ко мне.

– Мне очень жаль, Кейти. Извини.

– Извини... Какое пустое слово.

– Я люблю тебя...

⁴ Рекламное агентство.

И вот тогда я бросилась в ванную, хлопнула дверью, заперлась на замок, осела на пол и разрыдалась. Питер стучал в дверь, умоляя впустить его. Но, вне себя от горя и отчаяния, я не хотела даже слышать его.

Постепенно удары в дверь стихли. Мне удалось успокоиться. Я заставила себя подняться, открыла дверь и, шатаясь, добрела до дивана. Питер уже ушел. Я сидела на краешке дивана, пребывая в состоянии, близком к тому, что наступает после автокатастрофы, – тупой шок и где-то в подсознании бьется мысль: *неужели это наяву?*

Помню, как я на автопилоте надела пальто, схватила ключи от квартиры и вышла.

Потом было такси, и я ехала куда-то, но подробности той поездки не отложились в памяти. Однако, когда мы остановились на углу 42-й улицы перед старинным жилым комплексом Тьюдор-Сити, я, хотя и не сразу, все-таки вспомнила, почему я здесь и кого собираюсь навестить.

Я вышла из такси и зашла в подъезд. Когда лифт остановился на седьмом этаже, я прошла по коридору и нажала кнопку звонка у двери под номером 7Е. Мне открыла Мег, в выцветшем бледно-голубом махровом халате, с извечной сигаретой в углу рта.

– Ну, и чем я заслужила такой сюрприз...? – сказала она.

Но тут она взглядела в меня внимательнее и резко побледнела. Я сделала шаг к ней и уронила голову на ее плечо. Она обняла меня.

– О, дорогая моя... – тихо произнесла она. – Только не говори мне, что он был женат.

Я прошла в комнату. И снова разрыдалась. Она налила мне виски. Я пересказала ей всю эту глупую сагу. Ночь я провела на ее диване. На следующее утро я и думать не могла о том, чтобы явиться в офис, поэтому попросила Мег позвонить мне на работу и сказать, что я больна. Она поспешила в свою спальню, где стоял телефон.

Вскоре она вышла и сказала:

– Можешь считать меня надоедливой старухой, сующей нос не в свои дела... но хочу тебя обрадовать: в офисе тебя не ждут раньше второго января.

– Что ты там наговорила, черт возьми, Мег?

– Я говорила с твоим боссом...

– Ты звонила Питеру?

– Да.

– О боже, Мег...

– Выслушай меня. Я позвонила ему и просто объяснила, что ты слегка не в форме. Он сказал, что «учитывая обстоятельства», ты можешь спокойно отдыхать до второго января. Так что радуйся – одиннадцать дней отпуска. Неплохо, а?

– Особенно для него – это здорово облегчает ему жизнь. Ему не придется встречаться со мной до отъезда в Лос-Анджелес.

– А ты что, хочешь увидеть его?

– Нет.

– Защите нечего добавить.

Я опустила голову.

– Должно пройти время, – сказала Мег. – Много времени. Больше, чем ты думаешь.

Я и сама это знала. Так же как знала и то, мне предстоят самые долгие в моей жизни рождественские каникулы. Горе накатывало на меня волнами. Иногда его провоцировали какие-то совершенно глупые и банальные вещи – например, целующаяся парочка на улице. Или я ехала в метро (в бодром расположении духа после праздного шатания по Музею современного искусства или шопинг-терапии в «Блумингдейлз») – и вдруг, совершенно неожиданно, возникло ощущение, будто я лечу в глубокую пропасть. Я перестала спать. Я резко похудела. Каждый раз, как я пыталась себя увещевать, эмоции снова брали верх, и я впадала в отчаяние.

Я поклялась, побожилась, зареклась больше никогда не терять голову из-за мужчины и не выказывала ни малейшей симпатии (а наоборот, демонстрировала презрение) к подругам, которые превращали свои любовные неудачи во вселенскую трагедию: манхэттенский вариант «Тристана и Изольды».

Но бывало так, что я просто не знала, как прожить наступающий день. В такие минуты я чувствовала себя заложницей глупой и избитой драмы. Помню, как-то на воскресном завтраке с матерью в местном ресторанчике я вдруг разревелась. Пришлось выйти в туалет и отсидеться там, пока не улеглись мелодраматические всплески в духе Джоан Кроуфорд. Вернувшись за столик, я заметила, что мама уже заказала нам кофе.

– Меня очень беспокоит твое состояние, Кэтрин, – тихо сказала она.

– Просто была очень тяжелая неделя, не обращай внимания.

– Это мужчина, не так ли? – спросила она.

Я села за стол, залпом выпила кофе и кивнула головой.

– Должно быть, все это очень серьезно, раз ты так расстраиваешься.

Я пожала плечами.

– Не хочешь рассказать мне? – спросила она.

– Нет.

Она опустила голову – и я поняла, что глубоко обидела ее. Кто это однажды сказал, что матери готовы разбиться в лепешку ради своих детей?

– Мне бы очень хотелось, чтобы ты мне доверяла, Кейт.

– Мне тоже.

– Тогда я не понимаю, почему...

– Так уж сложились между нами отношения.

– Ты огорчаешь меня.

– Извини.

Она потянулась ко мне и пожала мою руку. Мне захотелось сказать ей так много – что мне трудно пробиться сквозь защитную оболочку ее врожденного аристократизма; что я никогда не смела откровенничать с ней, потому что боялась ее суровой критики; что я безумно люблю ее... но между нами висел груз прошлого. Да, это был один из тех редких моментов (в духе Голливуда), когда мать и дочь могли бы преодолеть разделявший их барьер и, вместе всплакнув, примириться. Но жизнь идет по своему сценарию, не так ли? В такие решающие минуты мы почему-то тормозим, колеблемся, робеем. Возможно, потому, что в семейной жизни окружаем себя броней. С годами она становится все прочнее. И пробиться сквозь нее бывает трудно не только окружающим, но и нам самим. Это наш способ защитить себя – и самых близких – от суровой правды жизни.

Остаток каникул я провела в кинотеатрах и музеях. Второго января я вернулась на работу. В офисе с большим сочувствием отнеслись к моему «ужасному гриппу» – и тут же вывалили на меня последние новости: «Ты слышала о переводе Питера Харрисона в Лос-Анджелес?» Я была сдержанна, тщательно выполняла свою работу, приходила домой, тихо страдала. Горе утратило свою остроту, но ощущение утраты не прошло.

В середине февраля одна из моих коллег-копирайтеров, Синди, предложила сходить на ланч в маленький итальянский ресторанчик по соседству с офисом. За столом мы только и говорили, что о рекламной кампании, в которой обе участвовали. Когда принесли кофе, Синди сказала:

– Думаю, ты слышала сплетню из лос-анджелесского офиса?

– Что за сплетня?

– Питер Харрисон ушел от жены и детей к какой-то бухгалтерше. Кажется, ее зовут Аманда Коул...

Новость оглушила меня, подобно взрыву гранаты. Я была в шоке. Должно быть, это отразилось на моем лице, потому что Синди взяла меня за руку и сказала:

– С тобой все в порядке, Кейт?

Я со злостью отняла руку:

– Конечно, в порядке. А почему ты спрашиваешь?

– Да так просто, – нервно произнесла она. Обернувшись, она поискала глазами официантку и сделала знак, чтобы принесли счет. Я уставилась в чашку с кофе.

– Ты знала, да? – спросила я.

Она капнула в свою чашку заменитель сахара, принялась размешивать кофе.

– Пожалуйста, ответь на вопрос, – попросила я.

Она прекратила вращать ложкой.

– Дорогая, – сказала она, – *все* знали.

Я написала три письма Питеру – награждая его всяческими нелестными эпитетами, обвиняя в том, что он разрушил мою жизнь. Ни одно из них я так и не отослала. Я отчаянно боролась с желанием позвонить ему в четыре утра. В конце концов, я написала ему открытку. Всего несколько слов.

Как тебе не стыдно.

Я порвала открытку за пару секунд до того, как опустить ее в почтовый ящик... и тут же разревелась – так и стояла, всхлипывая, как дурочка, на углу 48-й улицы и Пятой авеню, вызывая живейший интерес у спешащих на ланч клерков.

Когда мы стали встречаться с Мэттом, я все еще не оправилась от депрессии, и он знал об этом. Прошло восемь месяцев с тех пор, как Питер переехал на Запад. Я поменяла место работы – перешла в крупное рекламное агентство «Хайки, Фергюсон энд Ши». С Мэттом я познакомилась, когда однажды он появился в нашем офисе со съемочной группой Пи-би-эс. Они снимали сюжет для новостной программы «Макнейл-Лерер Ньюс Ауэр» об агентствах, которые все еще рекламировали дьявольскую траву, табак. Я была одним из копирайтеров, у кого он брал интервью, – а потом мы еще долго трепались. Я была удивлена, когда он предложил мне встретиться – ведь в нашей болтовне не было и намека на флирт.

Мы встречались около месяца, и я удивилась еще больше, когда он признался мне в любви. По его словам, я была самой остроумной женщиной из всех, кого он знал. Он обожал мою «нетерпимость к глупости». Уважал мое «сильное чувство личной автономии», мои «мозги», мою «спокойную самоуверенность» (ха!). Все сошлось – он встретил женщину, с которой мечтал соединить свою жизнь.

Разумеется, я не капитулировала вот так сразу. Наоборот, меня очень смутило это внезапное признание в любви. Да, мне нравился этот парень. Он был умен, честолюбив, эрудирован. Мне импонировал его столичный лоск... как и то, что он сумел достучаться до меня – разумеется, прежде всего потому, что мы оба были детьми большого города. Он, как и я, вырос на Манхэттене. Окончил дорогую частную школу, университет. Был всезнайкой и – что очень по-нью-йоркски – обладал сомнением мирового класса.

Говорят, что характер определяет судьбу. Возможно, но правильно выбранный момент тоже нельзя сбрасывать со счетов. Нам обоим было по тридцать шесть. Он только что освободился от длившихся пять лет отношений с гиперамбициозной корреспонденткой Си-эн-эн, Кейт Браймер (она променяла его на «говорящую голову» какого-то крупного информационного агентства), – так что мы оба имели представление о том, как терпят катастрофу романтические чувства. Так же, как и я, он терпеть не мог пустое и нервное занятие под названием «ухаживание». Так же, как и я, он страшно боялся вступать в сорокалетие одиноким. Он даже

хотел детей – что во сто крат повышало его привлекательность, поскольку до меня уже доносились предсказуемо зловещее тиканье моих биологических часов.

Теоретически мы, должно быть, выглядели великолепной парой. Идеальное сочетание двух половинок. Образцовая нью-йоркская ячейка общества.

Существовала лишь одна проблема: я не была влюблена в него. Я это знала. Но убеждала себя в обратном. Этот самообман усугублялся настойчивыми просьбами Мэтта выйти за него замуж. Ему довольно изящно удавалось преподносить эту идею – и в конце концов я все-таки поддалась на его лесть. Потому что после истории с Питером мне необходимо было чувствовать себя желанной, купаться в обожании и комплиментах. Ну и, чего уж скрывать, втайне я очень боялась остаться одинокой и бездетной.

– Очаровательный молодой человек, – сказала моя мать после знакомства с Мэттом. – Думаю, он сделает тебя очень счастливой.

Это означало, что она одобряет его статус и аристократические замашки. Мег была более сдержанна.

– Он очень приятный парень, – сказала она.

– Кажется, ты не в восторге, – заметила я.

– Это потому, что *ты* не в восторге. Так мне кажется.

Я выдержала паузу, потом сказала:

– Я очень счастлива.

– Да, любовь – это замечательная штука. Ты ведь любишь его?

– Конечно, – безучастно произнесла я.

– Звучит очень убедительно.

Едкий комментарий Мег вновь всплыл в моей голове спустя четыре месяца. Я была в отеле на острове Невис в Карибском море. Было три часа ночи. Рядом со мной в постели спал мой вот уже тридцать шесть часов как муж. Это была наша первая брачная ночь. Я лежала, уставившись в потолок, и думала: «*Что я здесь делаю?*»

И тут накатили воспоминания о Питере. Слезы хлынули из глаз. И я ругала себя последними словами за то, что оказалась такой идиоткой.

Мы ведь сами загоняем себя в угол, не так ли?

Я пыталась сделать наш брак успешным. Мэтт *серьезно* работал в том же направлении. Но наше сосуществование не складывалось. Мы бесконечно спорили из-за всякой ерунды. Потом как-то договаривались, но вскоре разногласия вспыхивали с новой силой. Я открыла для себя, что союз двух людей возможен, только если им удастся достичь компромисса. А для этого нужна огромная воля. У нас обоих она отсутствовала.

Неудивительно, что очень скоро нам обоим стало понятно: мы несовместимы. Наутро после ссор мы покупали друг другу дорогие подарки. Или мне в офис доставляли букет цветов с остроумной примирительной запиской:

Говорят, что первые десять лет самые трудные.

Я люблю тебя.

Мэтт.

Пару раз, в попытке реанимировать чувства, мы устраивали романтические уик-энды с выездом в Беркшир, Западный Коннектикут или Монток. В одной из таких поездок Мэтт, подвыпив, уговорил меня расстаться на одну ночь с противозачаточной диафрагмой. Я тоже изрядно нагурилась – и пошла ему навстречу. Так в нашей жизни появился Этан.

Бесспорно, он оказался самой счастливой случайностью, возможной по пьянке. Любовью с первого вздоха. Но послеродовая эйфория прошла, и вернулись привычные бытовые дразги. Этан отказывался верить в целебные свойства сна. Первые полгода своей жизни он спал урыв-

ками часа по два – что быстро ввергло нас обоих в ступор. Если в вашем распоряжении нет Мэри Поппинс, физическая усталость обязательно выльется в раздражение, которое – в нашем случае – приняло форму открытых военных действий. Как только я отняла Этана от груди, у меня созрело решение установить график ночных кормлений. Мэтт отказывался, мотивируя это тем, что его напряженная работа требует полноценного восьмичасового сна. Для моих ушей это было сродни барабанной дробь, призывающей к атаке, – и я тут же обвинила его в том, что он ставит свою карьеру выше моей. Что, в свою очередь, спровоцировало новую вспышку конфронтации с упреками в игнорировании родительских обязанностей, призывами вести себя по-взрослому и риторическими вопросами, почему мы все время ссоримся.

Разумеется, если в семье есть дети, именно женщине приходится взваливать на себя основную ношу – так что, когда однажды вечером Мэтт пришел домой и объявил, что принял предложение о трехмесячной командировке в вашингтонское бюро Пи-би-эс, мне оставалось лишь съязвить:

– Надо же, как ты подсуетился.

Правда, он пообещал нанять (и оплатить) дневную няню – поскольку к тому времени я вышла на работу. Обещал приезжать домой каждый уик-энд. И еще он надеялся, что разлука пойдет на пользу нашим отношениям – снимет напряженность.

Так что я осталась с ребенком на руках. Что, впрочем, было для меня огромной радостью – и не просто потому, что я не могла надышаться на Этана (тем более что мое общение с ним отныне было ограничено лишь вечерними часами), но еще и потому, что я слишком устала от бесконечной вражды с Мэттом.

Удивительно, но сразу после его отъезда в Вашингтон произошли две метаморфозы: а) Этан стал спать по ночам; б) мы с Мэттом начали спокойно общаться. Нет, это не было классической ситуацией «разлука укрепляет чувства»; скорее речь шла о взаимном смягчении. Теперь, когда мы были освобождены от постоянного присутствия друг друга, наше противостояние прекратилось. Мы как будто заново научились разговаривать – вести беседу, которой не грозит перерасти в злобную перепалку. Когда он приезжал домой на выходные, сознание того, что нам отведено всего сорок восемь часов, держало нас обоих в узде. Постепенно между нами установились товарищеские взаимоотношения, пришло понимание того, что мы вполне можем ладить, что нам действительно приятно общество друг друга, что у нас есть будущее.

Или, по крайней мере, я так думала. В последний месяц «вашингтонской ссылки» Мэтта разразился Уайт-уотерский скандал⁵, и эта горячая новость задержала его в округе Колумбия еще на целых три недели. Когда он наконец вернулся на Манхэттен, я заподозрила неладное, едва он переступил порог. Он старался вести себя естественно, но стоило мне задать ему пару невинных вопросов о том, чем он занимался в Вашингтоне, почему-то смутился и залепетал что-то невнятное. Потом нервно перевел разговор на другую тему. И вот тогда мне все стало понятно. Мужчины думают, что умеют ловко замечать следы, но, когда дело касается неверности, они прозрачны, как полиэтиленовая пленка.

После того как мы уложили Этана в постель и устроились в гостиной с бутылкой вина, я решила рискнуть и задать вопрос в лоб.

– Как ее зовут?

Лицо Мэтта приобрело известковый оттенок, ассоциирующийся у меня со средством от расстройства желудка «Каопектейт».

– Я тебя не понимаю... – пробормотал он.

– Тогда я повторю свой вопрос медленно: *как... ее... зовут?*

– Я действительно не понимаю, о чем ты.

⁵ Дело Уайт-Уотер – скандал 1993 года, когда президента Клинтона обвинили в том, что его семья, в бытность его губернатором штата Арканзас, пыталась подзаработать на махинациях с недвижимостью.

– Еще как понимаешь, – сказала я, выдерживая спокойный тон. – Я просто хочу знать имя женщины, с которой ты встречался.

– Кейт...

– Так зовут меня. Я хочу знать *ее* имя. Пожалуйста.

Он шумно выдохнул:

– Блэр Бентли.

– Спасибо, – произнесла я вполне удовлетворенно.

– Можно, я объясню?

– Объяснишь что? Что это была всего лишь мимолетная интрижка? Или что ты напился однажды ночью, а когда очнулся, обнаружил эту женщину на кончике своего пениса? Или, может быть, это любовь...

– Это любовь.

Я оцепенела. Дар речи вернулся ко мне не сразу.

– Ты это серьезно? – наконец вымолвила я.

– Совершенно серьезно, – сказал он.

– Негодяй.

Он ушел из дома в тот же вечер. Больше он никогда не ночевал в нем. Мне было очень горько. Может, он и не был любовью всей моей жизни, но ведь у нас был ребенок. Ему следовало бы подумать о сыне. Точно так же как и признать, что временная разлука пошла на пользу нашим отношениям – мы сложили оружие и установили перемирие. Я бы даже сказала, любовное примирение – ведь я действительно начала скучать по Мэтту. Все говорят, что первые год-два брака – это сущий ад. Но, черт возьми, мы же преодолели этот рубеж. И стали обычной супружеской парой.

Когда же я обнаружила, что мисс Блэр Бентли – двадцатилетняя стриженная блондинка с ногами от ушей, идеальной кожей и белоснежной улыбкой (к тому же ведущая новостей на канале Эн-би-си в округе Колумбия с перспективой перевода на прайм-тайм в Нью-Йорке), моя досада возросла в геометрической прогрессии. Мэтт нашел себе жену-трофей.

Но, разумеется, больше всего я злилась на себя. Я сама все разрушила. Я делала именно то, чего клялась не делать никогда – начиная от романа с женатым мужчиной и заканчивая послушным исполнением воли этих чертовых биологических часов. Мы часто говорим о том, что необходимо «построить свою жизнь» – реализовать себя в карьере, в семье, найти правильный баланс личного и профессионального. Глянцевые журналы наперебой предлагают фальшивые рецепты *строительства* этого безупречного, скроенного по индивидуальной мерке существования. Но на самом деле, когда сталкиваешься с серьезными потрясениями (вроде тех, что испытала я, когда один мужчина разбил мое сердце, а другой оставил с ребенком), понимаешь, что ты просто-напросто неудачница. Что, если бы я не попала в агентство «Хардинг, Тайрелл и Барни»? Что, если бы не согласилась пойти с Питером в бар? Или не поменяла работу и Мэтт никогда бы не зашел в наш офис? Случайная встреча здесь, поспешное решение там... и вот однажды утром ты просыпаешься женщиной средних лет, разведенной и с ребенком на руках. И задаешься вопросом: какого черта я так распорядилась своей жизнью?

Зазвонил телефон, и я резко очнулась от грез. Я посмотрела на часы. Почти девять утра. Как это мне удалось так надолго выпасть из жизни?

– Это ты, Кейт?

Голос удивил меня. Это был мой брат. Впервые за долгие годы он позвонил мне домой.

– Чарли?

– Да, это я.

– Ты ранняя пташка.

– Что-то не спится. Мм... я просто хотел, мм... я рад был повидать тебя, Кейт.

– Понимаю.

– И я не хочу, чтобы прошло еще семь лет...

– Как я уже сказала вчера, все зависит от тебя, Чарли.

– Я знаю, знаю.

Он замолчал.

– Что ж, – сказала я, – ты знаешь мой телефон. Так что звони, когда захочется. А если не захочется, я переживу. Ты сам прервал наше общение. И если хочешь возобновить его, все в твоих руках. Справедливо?

– Ээ... да, конечно.

– Вот и хорошо.

И опять эта нервная пауза.

– Ну тогда... я, пожалуй, пойду, Чарли. До встречи...

Он оборвал меня на полуслове, выпалив в трубку:

– Ты не можешь одолжить мне пять тысяч долларов?

– Что?

Его голос задрожал.

– Я... ээ... мне очень стыдно... я знаю, ты, наверное, возненавидишь меня за эту просьбу, но... ты помнишь, я говорил тебе про собеседование... на должность торгового представителя «Пасифик Флорал Сервис». Крупнейшая на Западном побережье компания по доставке цветов. Это единственное, что мне удалось найти здесь, учитывая, что мне далеко за пятьдесят... сегодня на рынке труда такие сложности, особенно для тех, кто уже предпенсионного возраста.

– Не напоминай мне. Так разве у тебя не сегодня собеседование?

– Должно было быть. Но когда я вчера вечером вернулся домой, меня ожидало сообщение из отдела кадров «Пасифик Флорал». Они решили заполнить вакансию кем-то из своих, так что собеседование отменяется.

– Мне очень жаль.

– А мне тем более. Ты не представляешь, как мне жаль, потому что... потому что... это была должность даже не менеджера... какого-то чертова торгового агента...

Он замолчал.

– Ты в порядке, Чарли?

Я слышала, как он тяжело вздохнул.

– Нет. Не в порядке. Потому что если до пятницы я не найду пяти тысяч долларов, банк угрожает забрать мой дом.

– А пять тысяч решат твою проблему?

– Не совсем... потому что на самом деле я должен банку еще семь.

– Господи, Чарли.

– Я знаю, знаю, но, когда полгода сидишь без работы, начинают накапливаться такие вот долги. И, поверь мне, я пытался занять денег везде, где только можно. Но начать с того, что на дом уже две закладных...

– А что говорит Холли?

– Она... она до конца не понимает, насколько все плохо.

– Ты хочешь сказать, что не говорил ей об этом?

– Нет... просто... просто я не хочу волновать ее.

– Ну, положим, поволноваться ей придется, когда вас вышвырнут из дома.

– Не произноси этого слова – *вышвырнут*.

– И что ты собираешься делать?

– Я не знаю. Все небольшие сбережения, что у нас были... и кое-какие акции... все потрачено.

Пять тысяч долларов. Я знала, что у меня на сберегательном счете восемь тысяч... и у мамы на депозите примерно одиннадцать с половиной, что было частью моего наследства,

в которое я должна была вступить после официального утверждения завещания. Пять тысяч долларов. Для меня это были серьезные деньги. С их помощью можно было частично покрыть стоимость семестра обучения Этана в «Алан-Стивенсон». И почти три месяца аренды за квартиру. На пять тысяч долларов у меня были большие планы.

– Я знаю, о чем ты думаешь, – сказал Чарли. – После стольких лет молчания первый звонок, и сразу с просьбой дать денег.

– Да, Чарли, именно об этом я думаю. И еще о том, как больно ты обидел маму.

– Я был неправ.

– Да, Чарли. Ты был очень неправ.

– Прости. – Его голос опустился до шепота. – Я не знаю, что еще сказать.

– Я не прощаю тебя, Чарли. Не могу простить. Я хочу сказать, да, я знаю, иногда она бывала слишком назойлива и властна. Но ты просто вычеркнул ее из своей жизни.

Я слышала, как у него перехватило дыхание, будто он пытался сдержать рыдания.

– Ты права, – произнес он.

– Мне все равно, права я или нет – сейчас уже поздно спорить об этом. Единственное, что я хочу знать, Чарли, почему это произошло.

– Мы никогда не ладили.

Это было правдой – в моих воспоминаниях из детства сохранились бесконечные споры между матерью и братом. Казалось, они не могли ни в чем согласиться друг с другом, к тому же у мамы была привычка постоянно вмешиваться в чужие дела. Но в то время как я приноровилась отражать (или даже игнорировать) ее попытки вторжения в мою жизнь, Чарли постоянно находился под этим гнетом. Его положение усугублялось тем, что он отчаянно скучал по отцу (и нуждался в нем). Ему было почти десять, когда умер отец, – и, судя по тому, что я слышала от брата, он боготворил отца и отчасти винил мать в его преждевременной смерти.

– Она никогда не любила его, – однажды сказал он мне, тринадцатилетней. – Сделала его жизнь такой несчастной, что он почти не бывал дома.

– Но мама говорила, что он все время был в разъездах.

– Да, его никогда не было в городе. А все потому, что он просто не хотел быть с ней.

Поскольку отец умер, когда мне было всего полтора года, у меня не сохранилось никаких воспоминаний о нем (не говоря уже о том, чтобы я его знала). Так что, когда бы Чарли ни заговорил об отце, я ловила каждое его слово... тем более что мама постоянно пресекала разговоры о покойном Джеке Малоуне – то ли ей было слишком больно говорить о нем, то ли попросту не хотелось. Так и получилось, что со слов Чарли у меня сложилось мнение о несчастливом браке родителей, и я втайне винила в этом мать.

В то же время мне было не понятно, почему Чарли так и не смог выстроить отношения с матерью. Видит Бог, я же постоянно сражалась с ней. Меня она тоже сводила с ума своей назойливостью. Но я бы никогда не посмела вычеркнуть ее из своей жизни, как это сделал Чарли. Правда, у меня сложилось впечатление, что мама была несколько противоречива в своих чувствах к единственному сыну. Конечно, она любила его. Но я не переставала задаваться вопросом, не видит ли она в нем причину, заставившую ее согласиться на заведомо неудачный брак с Джеком Малоуном. В свою очередь, Чарли так и не оправился от потери отца. И ему совсем не улыбалась роль единственного мужчины в доме. Так что, как только это стало возможным, он сбежал – прямо в объятия женщины настолько властной и деспотичной, что в сравнении с ней мама показалась бы либералкой.

– Я знаю, что вы никогда не ладили, Чарли, – сказала я. – И да, у нее бывали заскоки. Но все равно она не заслужила того наказания, которое вы с Принцессой ей назначили.

Долгая пауза.

– Нет, – наконец заговорил он. – Не заслужила. Но что я могу сказать, Кейт? Кроме того, что позволил себе подпасть под влияние... – Он не закончил фразу и понизил голос: – Скажем так: мне был поставлен ультиматум «Или я, или она». А я дал слабину и не стал сопротивляться.

Снова пауза. Я первой нарушила молчание:

– Хорошо, я перешлю тебе через «Федэкс» чек на пять тысяч долларов.

До него не сразу дошло.

– Ты серьезно?

– Мама одобрила бы это.

– О господи, Кейт... Даже не знаю, что...

– Ничего не говори...

– Я потрясен...

– Не надо. Это же наше семейное дело.

– Я обещаю, *клянусь*, я верну, как только...

– Чарли... *довольно*. Чек будет у тебя завтра. И когда у тебя появится возможность, тогда и отдашь. А теперь мне нужно попросить тебя...

– Что угодно. Я весь в твоём распоряжении.

– Да нет, мне просто нужно, чтобы ты ответил мне на один вопрос, Чарли.

– Конечно, конечно.

– Ты был знаком с Сарой Смайт?

– Никогда не слышал этого имени. А почему ты спрашиваешь?

– Я получила от нее письмо с соболезнованиями, и она пишет, что знала маму и папу еще до моего рождения.

– Нет, я не припоминаю. Хотя я вообще мало кого помню из их друзей того времени.

– Ничего удивительного. Я сама не помню, с кем встречалась месяц назад. Но все равно спасибо.

– Нет, это тебе спасибо, Кейт. Ты даже не представляешь, что значат для всех нас эти пять тысяч...

– Думаю, догадываюсь.

– Благослови тебя Господь, – тихо произнес он.

Когда я повесила трубку, меня пронзила мысль: а ведь я скучаю по брату.

Остаток утра я посвятила уборке квартиры и прочим домашним делам. Вернувшись из прачечной, расположенной в подвале нашего дома, я обнаружила оставленное на автоответчике сообщение:

– Здравствуй, Кейт...

Голос был мне незнаком; он был приятным и аристократическим, с легким акцентом, характерным для жителей Новой Англии.

– Это Сара Смайт. Надеюсь, ты получила мое письмо, и прошу извинить, что звоню тебе домой. Но я подумала, что хорошо бы нам встретиться. Как ты уже знаешь из моего письма, я была близким другом вашей семьи, когда еще был жив твой отец, и мне бы очень хотелось возобновить общение с тобой после стольких лет. Я знаю, как ты занята, поэтому, если у тебя будет возможность, позвони мне, пожалуйста. Мой телефон 555.0745. Сегодня днем я дома, если что. Еще раз хочу сказать тебе, что мысленно я с тобой в столь трудный для тебя час. Но я знаю, что ты упорная и сильная, поэтому справишься. Я очень жду нашей встречи.

Я дважды прослушала сообщение, чувствуя, как нарастает во мне тревога (и раздражение). *Мне бы очень хотелось возобновить общение с тобой после стольких лет... Я знаю, как ты занята... Я знаю, что ты упорная и сильная...* Боже правый, эта женщина говорила так, будто она была старым добрым другом нашей семьи или как будто я залезала к ней на колени, когда мне было пять лет. И неужели ей не хватает такта понять, что, лишь вчера похоронив свою мать, я не в том настроении, чтобы устраивать светские посиделки?

Я схватила письмо, которое она прислала мне поутру. Прошла в комнату Этана. Включила его компьютер. И написала:

Дорогая мисс Смайт!

Я очень тронута как вашим письмом, так и сообщением.

Как вы, я уверена, знаете, горе по-разному влияет на людей. Сейчас мне просто хочется сделать передышку и побыть наедине со своим сыном и своими мыслями.

Я очень надеюсь на ваше понимание. Еще раз прошу принять мою благодарность за ваше участие в столь печальный для меня момент.

Ваша,

Кейт Малоун.

Я два раза перечитала письмо, прежде чем распечатать его. Потом я поставила свою подпись, вложила письмо в конверт, надписала имя и адрес Смайт и заклеила. Вернувшись на кухню, я сняла трубку и позвонила своему секретарю в офис. Она обещала доставить письмо курьером. Я знала, что могла бы отправить его и почтой, но побоялась, что она вновь позвонит мне сегодня вечером. А мне больше не хотелось ее слышать.

Через полчаса консьерж сообщил, что курьер ждет меня внизу. Я схватила пальто и выбежала из квартиры. Выйдя из подъезда, я вручила письмо мотоциклисту. Он заверил меня, что доставит письмо по адресу в течение получаса. Я поблагодарила его и направилась в сторону Лексингтон-авеню. По пути зашла в местное отделение «Кинкос» на 78-й улице. Достала из кармана пальто еще один конверт и положила его в пакет «Федэкс». Потом заполнила регистрационную форму с пометкой гарантированной доставки на следующий день по адресу Чарльза Малоуна в Ван-Найс, Калифорния. Опустила пакет в почтовый ящик «Федэкс». Когда он завтра вскрыет конверт, то обнаружит в нем чек на пять тысяч долларов и короткую записку:

Надеюсь, это поможет.

Удачи.

Кейт.

Я вышла из офиса «Кинкос» и еще час бродила по округе. Сделала кое-какие покупки в «Д'Агостинос», попросив доставить их ко мне на квартиру во второй половине дня. Заглянула в детский магазин «Гэп» и вышла оттуда с новой джинсовой курткой для Этана. Потом прошла еще два квартала и скоротала полчаса в книжном магазине на Мэдисон-авеню. Внезапно осознав, что со вчерашнего дня у меня во рту не было даже маковой росинки, я зашла в «Суп Бург» на углу Мэдисон и 73-й улицы, где заказала себе двойной чизбургер с беконом и фри. Проглотив все это, я начала терзаться чувством вины за перебор калорий. Но все равно ощущение сытости было приятным. Когда я уже допивала кофе, зазвонил мой сотовый.

– Это ты, Кейт?

О боже, только не это. Опять эта женщина.

– Кто это? – спросила я, хотя и знала ответ на вопрос.

– Это Сара Смайт.

– Откуда у вас этот номер, мисс Смайт?

– Я позвонила в справочную сотовой компании «Белл Атлантик».

– Вам так срочно нужно переговорить со мной?

– Я только что получила твое письмо, Кейт. И...

Я не дала ей договорить:

– Я удивлена тем, что вы называете меня по имени, хотя я не помню, чтобы мы с вами когда-либо встречались, мисс Смайт...

– О, на самом деле встречались. Очень давно, когда ты была маленькой...

– Может быть, и встречались, но это не отложилось у меня в памяти.

– Что ж, когда мы увидимся, я смогу...

Я снова оборвала ее:

– Мисс Смайт, вы ведь *прочитали* мое письмо, не так ли?

– Да, конечно. Поэтому я тебе и звоню.

– Разве я не ясно дала понять, что мы *не* увидимся?

– Не надо так говорить, Кейт.

– И пожалуйста, прекратите называть меня Кейт.

– Если бы только я могла объяснить...

– Нет, я не хочу слышать никаких объяснений. Я просто хочу, чтобы вы оставили меня в покое.

– Все, о чем я прошу, это...

– Я так понимаю, это вы называли мне вчера, не оставляя сообщений...

– Пожалуйста, выслушай меня...

– И что это за заявления, будто вы давний друг моих родителей? Мой брат Чарли сказал, что не знает вас...

– Чарли? – Она оживилась. – Значит, вы все-таки помирились с Чарли?

Я вдруг занервничала:

– Откуда вам известно, что мы были в ссоре?

– Все прояснится, если мы только встретимся...

– Нет.

– Прошу, будь благоразумной, Кейт...

– Хватит. Разговор окончен. И больше не звоните мне. Потому что я не хочу разговаривать с вами.

На этом я нажала отбой.

Ну да, я перегнула палку. Но... назойливость этой женщины... И откуда, черт возьми, ей известно о размолвке с Чарли?

Я вышла из ресторана, еще не остыв от ярости. Остаток дня я решила провести в кино. Я двинулась на 72-ю улицу и убила два часа в кинотеатре, где крутили какой-то боевик. Межгалактические террористы атаковали американский шаттл и порешили весь экипаж – за исключением качка-астронавта, который, естественно, сокрушил всех злодеев и в одиночку привел поврежденный шаттл на землю, приземлившись на вершину скалы Маунт-Рашмор. Уже через десять минут этой белиберды я задалась вопросом, какого черта я вообще притащилась в кинотеатр. И тут же ответила себе: потому что сегодня явно не мой день.

Домой я вернулась уже ближе к шести. К счастью, Константин сменился, и вместо него на вахте был ночной консьерж Тедди, славный малый.

– Для вас пакет, мисс Малоун, – сказал он, вручая мне пухлый манильский конверт.

– Когда это пришло? – спросила я.

– С полчаса назад. Доставили нарочным.

Я мысленно застонала.

– Старушка в такси? – спросила я.

– Как вы догадались?

– Тебе лучше не знать.

Я поблагодарила Тедди и поднялась к себе. Сняла пальто. Села за обеденный стол. Вскрыла конверт. Просунула руку и достала открытку. Та же самая серо-голубая почтовая бумага. О господи, все сначала...

Кв. 2В
Нью-Йорк, Нью-Йорк 10024
(212) 555.0745

Дорогая Кейт!

Я все-таки думаю, что тебе стоит позвонить мне.

Сара.

Я снова полезла в конверт. И достала оттуда большую прямоугольную книгу. При ближайшем рассмотрении это оказался фотоальбом. Я открыла его и уставилась на черно-белые детские фотографии, аккуратно разложенные под прозрачной бумагой. Фотографии были явно из пятидесятых – поскольку новорожденный младенец спал в огромной старомодной коляске, которые были популярны в то время. Я перевернула страницу. Здесь ребенок уже был на руках у отца – настоящего отца из далеких пятидесятых, в пиджаке из ткани в «елочку», репсовом галстуке, с короткой стрижкой и крупными белыми зубами. Отец определенно был из тех, кто восемью годами ранее громил врага в Германии.

Как мой отец.

Я снова взгляделась в снимки. И мне вдруг стало не по себе.

Это был мой отец.

И у него на руках была я.

Я перевернула страницу. Там на фотографиях была я в возрасте двух, трех, пяти лет. Вот мой первый день в школе. А вот я уже в когорте «Брауни», в коричневой форме. Вот снимки, сделанные в пору моего пребывания в скаутах. И фотографии, на которых мы с Чарли позируем у входа в Рокфеллеровский центр, это примерно в 1963 году. Не тот ли это был день, когда Мег и мама привели нас на рождественское шоу в мюзик-холл «Радио Сити»?

Я принялась лихорадочно листать страницы. Я на сцене школьного театра в Бреарли. Я в летнем лагере в Мэне. Я в танце. Я на Тоддс Пойнт Бич в Коннектикуте, во время летних каникул. Я с Мег на выпускном вечере в старшей школе.

Передо мной была история моей жизни в фотографиях – включая учебу в колледже, мою свадьбу, рождение Этана. Последние страницы альбома были заняты газетными вырезками. Здесь были заметки, которые я писала для стенгазеты колледжа Смита. Вырезки из той же газеты с моей фотографией на сцене студенческого театра (в пьесе «Убийство в соборе»). Подборка моих слоганов для рекламных кампаний. Было даже объявление, напечатанное в «Нью-Йорк таймс», о моей свадьбе с Мэттом. И такое же объявление о рождении Этана...

Я продолжала бешено листать страницы. Когда добралась до предпоследней, у меня уже голова шла кругом. Я перевернула последнюю страницу. И вот оно...

Нет, в это невозможно было поверить.

Там была вырезка из школьной газеты «Алан-Стивенсон» с фотографией Этана в спортивной форме, когда он бежал кросс на соревнованиях прошлой весной.

Я захлопнула альбом. Сунула его под мышку. Схватила пальто. Выбежала за дверь. Бросилась к лифту, спустилась на первый этаж, пронеслась мимо консьержа и уже в следующее мгновение сидела в такси. Я назвала водителю адрес: «Вест, семьдесят седьмая улица».

4

Она жила в особняке с облицовкой из коричневого песчаника, типичном для городской застройки прошлого века. Я расплатилась с таксистом и бросилась вверх по лестнице, перепрыгивая через две ступеньки. Ее имя значилось на нижней клавише домофона. Я нажала ее и удерживала секунд десять. Потом в микрофоне раздался ее голос.

– Да? – осторожно произнесла она.

– Это Кейт Малоун. Откройте мне.

Последовала короткая пауза, и она впустила меня в дом.

Ее квартира находилась на первом этаже. Она уже стояла в дверях, поджидая меня. На ней были серые фланелевые брюки и серая водолазка, выгодно подчеркивающая ее длинную изящную шею. Седые волосы аккуратно зачесаны в тугий пучок. При ближайшем рассмотрении ее кожа оказалась еще более сияющей и гладкой – и лишь мелкие «гусиные лапки» вокруг глаз намекали на ее истинный возраст. У нее была идеальная осанка, прекрасно дополняющая ее благородный облик и статью. Взгляд, как всегда, был ясным – и глаза сияли радостью от встречи со мной... Во мне шевельнулось недоброе предчувствие.

– Как вы посмели, – сказала я, потрясая фотоальбомом.

– Добрый день, Кейт, – невозмутимо произнесла она. – Я рада, что ты пришла.

– Кто вы, черт возьми? И что все это значит? – Я вновь затрясла фотоальбомом, как вещественным доказательством в зале суда.

– Почему бы тебе не зайти в квартиру?

– Я не хочу к вам заходить, – произнесла я, пожалуй, чересчур громко. Она по-прежнему была спокойна.

– Но мы же не можем разговаривать здесь, – сказала она. – Прошу тебя...

Она жестом пригласила меня переступить порог. После недолгих колебаний я сказала:

– Только не думайте, что я задержусь надолго...

– Вот и хорошо, – ответила она.

Я проследовала за ней. Мы оказались в небольшой прихожей. Одну стену целиком занимали книжные полки, заставленные томами в твердом переплете. Рядом стоял гардероб. Она открыла его и спросила:

– Можно твое пальто?

Я передала ей пальто. Пока она вешала его, я отвернулась и вдруг почувствовала, что мне нечем дышать. Потому что на противоположной стене были развешаны фотографии в рамках, и на них были я и мой отец. Здесь был и тот самый портрет отца в армейской форме. И увеличенный снимок, где отец держит на руках меня, новорожденную. Моя фотография времен учебы в колледже и фотография, где я держу за руку годовалого Этана. Были две черно-белые фотографии отца вместе с молодой Сарой Смайт. На одной из них, «домашней», отец обнимал ее у рождественской елки. На другой фотографии пара была запечатлена у входа в Мраморный мемориал Линкольна в Вашингтоне. Судя по качеству этих фотографий и стилю одежды, можно было предположить, что они сделаны в начале пятидесятых. Я обернулась и широко раскрытыми глазами уставилась на Сару Смайт.

– Я не понимаю... – пробормотала я.

– Меня это не удивляет.

– Вы должны дать какие-то объяснения, – сказала я, вдруг разозлившись.

– Да, – тихо произнесла она. – Непременно.

Она тронула меня за локоть, увлекая в гостиную.

– Садись. Кофе? Чай? Или что-нибудь покрепче?

– Покрепче, – ответила я.

– Красное вино? Бурбон? Ликер «Харви Бристол»? Боюсь, что больше мне нечего предложить.

– Бурбон.

– Со льдом? С водой?

– Чистый.

Она позволила себе легкую улыбку.

– Вся в отца, – сказала она.

Она жестом указала мне на громоздкое кресло. Оно было обито рыжевато-коричневой тканью. Так же, как и большой диван. Между ними стоял современный шведский журнальный столик, на котором аккуратными стопками были разложены альбомы по искусству и серьезная периодика («Нью-Йоркер», «Харперз», «Атлантик Мансли», «Нью-Йорк ревью оф букс»). Гостиная была маленькая, но в ней царил идеальный порядок. Выскобленный деревянный пол, белые стены, книжные полки, солидная коллекция дисков с классической музыкой, большое окно, выходящее на южную сторону, с видом на патио в заднем дворе. На выходе из комнаты имелся альков, где был оборудован домашний мини-офис – изящный письменный стол, на нем компьютер и факс, пачка бумаги. Напротив алькова была спальня с огромной кроватью (выцветшая деревянная спинка, стеганое покрывало в старомодном американском стиле), строгий деревянный комод. Обстановка спальни, как и всей квартиры, говорила о хорошем вкусе и элегантности хозяйки. Было совершенно очевидно, что Сара Смайт отказывалась уступать старости и уж точно не хотела прожить остаток жизни в ветхости и убожестве. Дом был отражением ее внутреннего благородства и достоинства.

Сара вышла из кухни с подносом в руках. На подносе были бутылка бурбона «Хайрам Уокер», бутылка ликера «Бристол», бокал для шерри, стакан под виски. Она поставила все это на журнальный столик, наполнила бокалы.

– «Хайрам Уокер» был любимым бурбоном твоего отца, – сказала она. – Лично я терпеть его не могла. Виски я пила лет до семидесяти, а потом организм распорядился по-своему. Теперь мне остается довольствоваться скучными женскими напитками вроде шерри. Твое здоровье.

Она подняла свой бокал. Я не ответила на ее тост. Молча и залпом опрокинула виски. Оно обожгло горло, но сняло тревогу, которая все никак меня не отпускала. И опять легкая улыбка пробежала по губам Сары Смайт.

– Твой отец тоже так пил – когда нервничал.

– Яблоко от яблони... – сказала я, показывая на бутылку.

– Пожалуйста, наливай еще, – сказала она. Я налила себе виски, но на этот раз лишь пригубила. Сара Смайт устроилась на диване, положила свою ладонь на мою руку.

– Я хочу попросить прощения за те крайние меры, к которым мне пришлось прибегнуть, чтобы вытащить тебя ко мне. Я знаю, ты, должно быть, считаешь меня надоедливой старухой, но...

Я резко отдернула руку:

– Я только хочу выяснить одну вещь, мисс Смайт...

– Сара, пожалуйста.

– Нет. Никаких фамильярностей. Мы не подруги. Мы даже не знакомые...

– Кейт, я знаю тебя всю жизнь.

– Откуда? Откуда вы меня знаете? И какого черта вы начали беспокоить меня после смерти моей матери?

Я швырнула на стол фотоальбом, раскрыла его на последней странице.

– Еще мне хотелось бы знать, откуда у вас это? – Я ткнула в вырезку из школьной газеты с фотографией Этана.

– У меня оформлена подписка на эту газету.

- *Что?*
- Точно так же я подписывалась на газету колледжа Смита, когда ты там училась.
- Вы сумасшедшая...
- Позволь, я объясню...
- С чего вдруг вы нами так интересуетесь? Судя по фотоальбому, который был состряпан явно не вчера, вы следили за нами все эти годы. И откуда у вас старые фотографии моего отца?
- Она в упор посмотрела на меня. И сказала:
- Твой отец был любовью всей моей жизни.

Часть вторая. Сара

1

Что первое всплывает в памяти, когда я думаю о нем? Взгляд. Беглый взгляд через плечо, которым он окинул битком набитую, в клубах дыма, комнату. Он стоял у стены: в руке наполненный стакан, в зубах сигарета. Уже потом он признался мне, что чувствовал себя не в своей тарелке и выискивал в толпе того парня, что притащил его в эту компанию. Ему на глаза случайно попала я. Наши взгляды встретились. Всего лишь на мгновение. Или на два. Он смотрел на меня. Я смотрела на него. Он улыбнулся. Я улыбнулась в ответ. Он отвернулся, продолжая искать своего приятеля. И больше ничего не было. Лишь один короткий взгляд.

Вот уже пятьдесят пять лет минуло, но я могу воспроизвести это мгновение в мельчайших подробностях. Я до сих пор вижу его глаза – светло-голубые, ясные, слегка усталые. Его рыжеватые волосы, коротко подстриженные машинкой. Армейскую форму цвета хаки, которая безупречно сидела на его долговязой фигуре. И он выглядел таким молодым (собственно, ничего удивительного, ведь в ту пору ему было чуть за двадцать). Таким невинным. Таким спокойно-задумчивым. Таким красивым. И, черт возьми, таким ирландцем.

Взгляд – это ведь такая эфемерность, не правда ли? Всего лишь мимика. Ничего не значащая. И вот что мне до сих пор не дает покоя: как это возможно, чтобы такая мимолетность перевернула твою жизнь? Каждый день мы встречаемся глазами со множеством людей – в метро или автобусе, в супермаркете, на улице. Вот кто-то идет тебе навстречу, ваши взгляды на миг соприкасаются, повинуюсь какому-то импульсу, но уже в следующее мгновение вы проходите мимо. Все, конец истории. Так почему... *почему?*.. именно тот случайный взгляд должен был стать роковым? Нет ответа. Даже приблизительного. Кроме того, что он действительно перевернул нашу жизнь. Изменил все. Безвозвратно. Хотя, конечно, никто из нас тогда об этом не догадывался.

Потому что, в конце концов, это был всего лишь взгляд.

Мы были на вечеринке. В канун Дня благодарения. Был 1945 год. В апреле умер Рузвельт. В мае Верховное командование Германии объявило о капитуляции. В августе Трумэн сбросил бомбу на Хиросиму. Спустя восемь дней капитулировала Япония. Какой насыщенный событиями год. Для тех, кто был в ту пору молодым, да к тому же американцем – и не потерял в той войне любимых, – наступила настоящая эйфория от побед.

В числе таких счастливиц были и мы – человек двадцать, собравшиеся в тесной квартирке на Салливан-стрит, чтобы отпраздновать первый мирный День благодарения. Было много выпивки, много танцев. Средний возраст нашей компании составлял лет двадцать восемь... так что я в свои двадцать три года была среди них ребенком (хотя парень в армейской форме выглядел еще моложе). А высокопарные беседы, которые мы вели в тот вечер, были посвящены, ни много ни мало, Будущему Безграничных Возможностей. Потому что победа в войне означала еще и то, что мы наконец одолели экономического врага, имя которому было Великая депрессия. Все ждали дивидендов от наступившего Мира. Впереди были лучшие времена. И мы считали, что имеем полное право распорядиться их благами. В конце концов, мы были американцы. И это был наш век.

Даже мой брат Эрик верил в превосходство американской нации... а ведь он был из тех, кого наш отец называл «красными». Я всегда говорила отцу, что он слишком строго судит своего сына, потому что на самом деле Эрик скорее придерживался старомодных идей Про-

грессивной партии. И еще он был неисправимым романтиком – боготворил Юджина Дебса⁶, подписался на еженедельник «Нейшн», когда ему было шестнадцать, мечтал стать вторым Клиффордом Одетсом⁷. Да-да, Эрик был драматургом. По окончании Колумбийского университета в 1937 году он нашел работу помощника режиссера в театре «Меркюри» Орсона Уэллса, ему удалось выпустить и пару антреприз в театральных мастерских Нью-Йорка. Это было время, когда благодаря «Новому курсу» Рузвельта неприбыльный драматический театр Америки получал государственные субсидии – так что спрос на *«театральных работников»* (как называл себя Эрик) был велик, не говоря уже о том, что многие мелкие театры с удовольствием приглашали молодых драматургов вроде моего брата. Правда, ни одна из поставленных им пьес не стала событием сезона. Но он никогда и не стремился на Бродвей. Он не уставал повторять, что его работа «заточена под нужды и устремления рабочего класса» (как я уже сказала, он был романтиком). И буду откровенна – как бы я ни любила, ни *обожа*ла своего старшего брата, его трехчасовая эпическая драма о профсоюзном диспуте 1902 года на железной дороге Эри-Лакавана никак не тянула на шедевр.

Тем не менее сам он считал себя великим драматургом. К сожалению, его жанр (все эти пьесы в стиле «В ожидании Лефти» Одетса) умер к началу сороковых годов. Орсон Уэллс уехал в Голливуд. За ним последовал и Клиффорд Одетс. Федеральный театральный проект был объявлен коммунистическим – постаралась группка узколобых конгрессменов, – и в тридцать девятом его все-таки закрыли. Так что в сорок пятом Эрик зарабатывал на жизнь, сочиняя пьесы для радио. Он написал сценарий первых двух эпизодов сериала «Бостон Блэки». Но продюсер уволил его, когда в очередной серии герой принялся за расследование убийства работодателя. Его убили по приказу какого-то крупного промышленника – который, как потом выяснилось, был копией владельца радиостанции, транслировавшей постановку. Эрик был большим проказником... даже если это угрожало его карьере. И у него было потрясающее чувство юмора. Кстати, это помогло ему найти новую работу в юмористическом шоу Джо И. Брауна. На что угодно готова спорить, что никто из нынешних актеров моложе семидесяти пяти лет в подметки не годится Джо И. Брауну. Заявляю это с полным основанием. Рядом с ним даже такой гигант, как Джерри Льюис, кажется пигмеем.

Но вернемся к той вечеринке. Она проходила на квартире Эрика на Салливан-стрит: однокомнатная, узкая и длинная, с окнами на одну сторону, мне она, так же, как и Эрику, всегда казалась верхом богемного шика. Ванна стояла на кухне. Светильниками служили пустые бутылки из-под кьянти. Старые потертые коврики на полу гостиной. И повсюду горы книг. Это были сороковые... в Виллидже еще не наступила эра битников. Впрочем, Эрик опережал время – одним из первых стал носить черные водолазки, тусовался с поклонниками Делмора Шварца и журнала «Партизан ревью», курил «Житан», таскал свою младшую сестру слушать современный бибоп в клубе на 52-й улице. Кстати, всего за пару недель до Дня благодарения мы с ним были в какой-то забегаловке на Бродвее, и на сцену вышел саксофонист Чарльз Паркер в сопровождении своих музыкантов.

Когда они сыграли свою первую композицию, Эрик повернулся ко мне и сказал: «Эс, можешь похвастаться тем, что присутствовала на этом концерте. Только что мы были свидетелями настоящей революции. Отныне ритм уже никогда не будет таким, как прежде».

Эс. Так он называл меня. Эс вместо Сара или Сис. С тех пор как Эрику исполнилось четырнадцать, он стал называть меня именно так – и, хотя родители ненавидели это прозвище, мне оно ужасно нравилось. Потому что им меня наградила мой старший брат. И потому что для меня мой старший брат был самым интересным и необычным человеком на всей планете... не

⁶ Деятель рабочего движения США.

⁷ Клиффорд Одетс (1906–1963), американский драматург, один из наиболее ярких представителей социальной драматургии 1930-х годов.

говоря уже о том, что он был моим покровителем и защитником, особенно от наших глубоко консервативных предков.

Мы оба родились и выросли в Хартфорде, штат Коннектикут. Как любил повторять Эрик, в Хартфорде отметились лишь две интересные личности: Марк Твен (который потерял кучу денег из-за обанкротившегося местного издательства) и Уоллес Стивенс, который глушил тоску от работы в страховой компании сочинением экспериментальной поэзии.

– Кроме Твена и Стивенса, – сказал Эрик, когда мне было двенадцать, – никто из известных людей здесь не жил. Пока мы с тобой не появились на свет.

О, он был так великолепен в своем высокомерии. С удовольствием отвечивал всякие колкости, лишь бы позлить нашего отца, Роберта Бидфорда Смайта-третьего. Отец идеально соответствовал своему напыщенному имени. Он был очень правильным, очень набожным служащим страховой компании; всегда носил шерстяные костюмы-тройки, почитал бережливость, ненавидел экстравагантность во всех ее проявлениях и терпеть не мог смутьянов. Наша мать, Ида, была из того же теста: дочь пресвитерианского священника из Бостона, практичная до педантизма, образцовая домашняя хозяйка. Они были крепкой парой, наши родители. Четкие и предсказуемые, деловые и серьезные, презирующие сентиментальность, в чем бы она ни выражалась. Публичные проявления нежности были большой редкостью в семейном укладе Смайтов. Потому что в душе и отец, и мать были настоящие пуритане Новой Англии, корнями увязшие в девятнадцатом веке. Нам они всегда казались стариками. Консервативными и упертыми стариками. Противоположностью веселья.

Конечно, мы все равно любили их. Все-таки они были нашими родителями – и, если только родители не какие-нибудь чудовища, ты *должен* любить их. Это было одним из условий так называемого «социального контракта» – по крайней мере, в то время. Точно так же приходилось мириться с многочисленными ограничениями, которые устанавливали для нас родители. Я часто думаю, что по-настоящему взрослым ты становишься только тогда, когда наконец прощаешь своих родителей и признаешь, что все их поступки были продиктованы исключительно заботой о тебе.

Но любовь к родителям вовсе не означает, что ты готов принять их мировоззрение. Эрик еще подростком делал все, чтобы насолить отцу (да, он настаивал на том, чтобы мы именно так обращались к нему, на викторианский манер. Ни в коем случае не папа. И уж тем более не папочка. В общем, никакой фамильярности. Только *отец*). Иногда я думаю, что политический радикализм Эрика родился не из идеологических убеждений, а скорее из желания поиграть у отца на нервах. Ругались они так, что пух и перья летели. Особенно после того, как отец нашел под кроватью сына книгу Джона Рида «Десять дней, которые потрясли мир». Или когда Эрик подарил ему на День отца пластинку Пола Робсона.

Мать не вмешивалась в конфликты отца и сына. Считала, что политические дебаты – не женское дело (кстати, это была одна из причин ее ненависти к миссис Рузвельт, которую она называла «Лениным в юбке»). Она постоянно читала нотации Эрику, призывая его уважать отца. Но к тому времени как он собрался поступать в колледж, она поняла, что ее суровые проповеди уже бесполезны: сына она потеряла. Это глубоко огорчало ее. И я чувствую, что она до конца своих дней пребывала в смятении – как это так вышло, что ее единственный сын, которого она так правильно воспитывала, превратился в оголтелого революционера! Тем более что он был таким незаурядным мальчиком.

Пожалуй, единственное, что радовало родителей в Эрике, так это его исключительный ум. Он обожал книги. К четырнадцати годам он читал на французском, а к моменту поступления в Колумбийский университет одолел и итальянский. Он мог со знанием дела рассуждать о таких абстрактных и трудных для понимания материях, как философия Декарта или квантовая механика. Или исполнять буги-вуги на фортепиано. Он был одним из тех юных вундеркиндов, которые с легкостью получали в школе только высшие баллы. Ему светил Гарвард. Принстон.

Браун. Но он выбрал Колумбийский университет. Потому что мечтал о Нью-Йорке с его безграничной свободой.

– Поверь мне, Эс, однажды я поселюсь на Манхэттене. И Хартфорд больше никогда не увидит меня.

Это он, конечно, преувеличил – потому что, несмотря на свою строптивость, он все-таки оставался послушным и ответственным сыном. Он писал домой раз в неделю, наезжал в Хартфорд на День благодарения, Рождество и Пасху, никогда не забывал родителей. В Нью-Йорке он просто открыл себя заново. Начать с того, что он сменил имя – вместо Теобольда Эриксона Смайта стал обычным Эриком Смайтом. Он избавился от респектабельной одежды в стиле «Лиги плюща»⁸, которую ему покупали родители, и начал одеваться в местном магазине, торгующем армейской формой. От его долговязой фигуры остались кожа да кости. Черные волосы стали длинными и густыми. Он купил себе узкие очки без оправы. И сделался похож на Троцкого – тем более что предпочитал ходить в армейской шинели и поношенном твидовом пиджаке. В моменты редких встреч с сыном родители приходили в ужас от его нового вида. Но его успеваемость в университете затыкала им рты. Одни высшие баллы. По итогам первого года учебы принят в студенческое общество «Фи-бета-каппа». Лучший студент по английскому языку. При желании он мог запросто поступить в юридическую школу или продолжить учебу в магистратуре любого университета страны. Но вместо этого он поселился в центре города, на Салливан-стрит, и стал батрачить на Орсона Уэллса за двадцать долларов в неделю, мечтая писать пьесы мирового масштаба.

К 1945 году эти мечты уже умирали. Никто не хотел даже взглянуть на его пьесы – потому что они были из другой эпохи. Но Эрик был полон решимости пробиться как сценарист... пусть даже это означало литературную поденщину в шоу Джо И. Брауна ради куска хлеба и крыши над головой. Пару раз я заикнулась ему о том, что, может, было бы неплохо подыскать преподавательскую работу в колледже – мне казалось, что это более достойное талантов Эрика занятие, нежели сочинительство юморесок для игрового шоу. Но Эрик не поддержал мою идею, сказав: «Когда писатель начинает обучать своему ремеслу, считай, он кончен. Переступая порог академии, он хлопает дверью перед лицом реального мира... мира, о котором должен писать».

– Но шоу Брауна никак нельзя назвать реальным миром, – возразила я.

– В нем реальности куда больше, чем в преподавании азов сочинения чопорным дамочкам из Брин-Мора.

– Эй, полегче! – воскликнула я, выпускница Брин-Морского колледжа.

– Ты знаешь, что я имел в виду, Эс.

– Да... что я чопорная дамочка, удел которой – выйти замуж за унылого банкира и поселиться в каком-нибудь респектабельном пригороде Филадельфии...

Что говорить, именно такую жизнь планировали для меня родители. Но я вовсе к ней не стремилась. Когда в сорок третьем я окончила Брин-Морский колледж, мать и отец надеялись, что я выйду замуж за моего тогдашнего ухажера – выпускника Хаверфордского колледжа по имени Гораций Кауэтт. Его только что приняли в юридическую школу Ю. Пенн, и он сделал мне предложение. Но хотя Гораций и не был таким же чопорным и солидным, как его имя (на самом деле он был довольно начитанным парнем и даже писал вполне приличные стихи для хаверфордского литературного журнала), я все-таки не была готова к брачному заточению – к тому же с человеком, который мне нравился, но и только. Страсти к нему я не испытывала. Как бы то ни было, я не собиралась тратить свои молодые годы на старую унылую Филадельфию,

⁸ Ассоциация частных американских университетов на северо-востоке США. Отличается респектабельностью и высоким качеством образования.

поскольку у меня были виды на город, расположенный в девяноста милях севернее. И никто не мог остановить меня на пути к Нью-Йорку.

Как и следовало ожидать, родители всячески пытались препятствовать моему переезду. Когда я – недели за три до окончания колледжа – объявила о том, что мне предложили работу стажером в журнале «Лайф», они пришли в ужас. Я приехала домой на уикэнд (специально объявить им новость о предложенной мне работе и сообщить о том, что не выйду замуж за Горация). Минут через десять после начала разговора накал страстей в нашем семействе достиг точки кипения.

– Я не позволю, чтобы моя дочь жила сама по себе в этом продажном, вульгарном городе, – провозгласил мой отец.

– Нью-Йорк вряд ли можно назвать вульгарным, а журнал «Лайф» – это не «Конфиденшл», – возразила я, имея в виду скандальную желтую газету того времени. – Я-то думала, вы порадуетесь за меня. «Лайф» принимает лишь по десять стажеров в год. Это невероятно престижное предложение.

– И все равно отец прав, – сказала мать. – Нью-Йорк – это не место для молодой женщины без семьи.

– Разве Эрик не моя семья?

– Твоего брата нельзя считать образцом морали, – ответил отец.

– И что это значит? – разозлилась я.

Отец вдруг зарделся, но скрыл свое смущение за отговоркой:

– Не важно, что это значит. Главное то, что я просто не позволю тебе жить на Манхэттене.

– Мне двадцать два года, отец.

– Дело не в этом.

– Ты не имеешь никакого права диктовать, что мне можно и чего нельзя.

– Не груби отцу, – одернула меня мать. – И я должна сказать тебе, что ты совершаешь непоправимую ошибку, отказываясь выйти замуж за Горация.

– Я так и знала, что ты это скажешь.

– Гораций – блестящий молодой человек, – сказал отец.

– Гораций – *потрясающий* молодой человек, с *потрясающе* скучным будущим.

– Ты слишком заносчива, – заметил он.

– Нет, просто говорю, что думаю. Я не хочу, чтобы меня заталкивали в жизнь, которая мне неинтересна.

– Я никуда тебя не заталкиваю... – сказал отец.

– Своим запретом ехать в Нью-Йорк ты лишаешь меня возможности распоряжаться своей судьбой.

– Твоя *судьба!* – с иронией воскликнул отец. – Ты действительно думаешь, что у *тебя* есть *судьба*? Что за дурные романы ты читала в Брин-Море?

Я пулей вылетела из комнаты. Побежала наверх, упала на кровать, вся в слезах. Никто из родителей не подошел утешить меня. Да я и не ждала этого. Таков был их стиль жизни. Старо-заветный взгляд на родительский долг. Наш отец был домашним заместителем Всевышнего – и когда Он говорил, все другие молчали. Так что до конца того уик-энда к разговору больше не возвращались. Вместо этого мы вели натянутую беседу о недавних происках японцев в Тихом океане, и я держала рот на замке, когда отец вновь пустился в привычное брюзжание в адрес Франклина Рузвельта. В воскресенье он отвез меня на вокзал. Когда мы подъехали к станции, он взял меня за руку:

– Сара, дорогая, я вовсе не хочу с тобой ссориться. Хотя мы и разочарованы тем, что ты не выйдешь за Горация, мы все-таки уважаем твое решение. И если тебя действительно так интересует журналистика, у меня есть кое-какие связи в «Хартфорд курант». Думаю, можно было бы найти там кое-что для тебя...

– Я приму предложение от «Лайф», отец.

Он сделался белым как полотно – чего с ним никогда не бывало.

– Если ты примешь это предложение, у меня не останется иного выбора, кроме как отречься от тебя.

– Тебе же хуже.

И с этим я вышла из машины.

Меня трясло всю дорогу до Нью-Йорка – и было страшно. Впервые в жизни я открыто бросила вызов отцу. Хотя я и храбрилась, меня пугала мысль о том, что я могу потерять родителей. Но в то же время мне становилось не по себе, стоило только представить, что я – следуя отцовской воле – буду до конца своих дней вести колонку «Новости церкви» в газете «Хартфорд курант», проклиная себя за то, что позволила родителям силой затащить меня в эту жалкую жизнь.

Да, я действительно верила в судьбу. Я знаю, это, наверное, звучит хвастливо и отдает дешевой романтикой... но тогда, в начале так называемой взрослой жизни, я пришла к твердому убеждению: у будущего *есть возможности*... но только если ты дашь себе шанс их опробовать. Однако большинство моих сверстников предпочитало идти проторенной дорогой, делая то, чего от них ожидали. Почти половина моих сокурсниц по Брин-Мору строили планы на замужество по окончании колледжа. Те мальчишки, что тянулись домой с войны, думали о том, где бы найти работу и осесть. Таким оно было, наше поколение, вступающее в послевоенное изобилие. Поколение, перед которым (в отличие от наших родителей) были открыты безграничные возможности. Но вместо того, чтобы ими воспользоваться, большинство из нас выбрало – что? Мы стали хорошими клерками, хорошими домохозяйками, хорошими потребителями. Мы сузили свои горизонты, заточили себя в рамках обыденности.

Конечно, все это я осознала гораздо позже (все мы сильны задним умом, не так ли?). Возвращаясь к весне сорок пятого, скажу, что в ту пору мне хотелось сделать свою жизнь интересной – и для меня это означало не выйти замуж за Горация Кауэтта и конечно же взяться за работу в «Лайф». Но когда я сошла с поезда на Пенсильванском вокзале после того ужасного уик-энда с родителями, у меня сдали нервы. Пусть я четыре года, пока училась в колледже, жила вдали от дома, отец все равно очень много значил в моей жизни. Я до сих пор отчаянно нуждалась в его одобрении, хотя и знала, что добиться этого невозможно. Я несколько не сомневалась в том, что он откажется от меня, если я все-таки перееду в Нью-Йорк. И как я смогу жить без родителей?

– О, *пожалуйста*, – сказал Эрик, когда я поделилась с ним своими тревогами. – Отец не посмеет отказаться от тебя. Он в тебе души не чает.

– Да нет, что ты...

– Поверь мне, старый дурак просто решил поиграть в сурового викторианского *отца семейства* – но в душе он испуганный шестидесятичетырехлетний старик, которого на будущий год компания отправит на пенсию, и он с ужасом ждет этого. Неужели ты думаешь, что он захлопнет дверь перед своей обожаемой дочерью?

Мы сидели в лаунж-баре отеля «Пенсильвания», напротив Пенсильванского вокзала. Мы заранее договорились, что Эрик встретит меня (у меня было два свободных часа до проходящего поезда в Брин-Мор, через Филадельфию). Едва завидев его на платформе, я бросилась к нему, уткнулась в плечо и заплакала, в душе ненавидя себя за этот приступ слабости. Эрик не отпускал меня, пока я не успокоилась, потом сказал:

– Ну что, повеселилась дома?

Я не смогла удержаться от смеха.

– Да, от души, – сказала я.

– Могу себе представить. Слушай, здесь рядом отель «Пенсильвания». И тамошний бармен отменно готовит коктейль «Манхэттен».

Отменно – это было мягко сказано. После двух таких «Манхэттенов» я почувствовала себя так, будто мне ввели наркоз – что, должна признать, оказалось весьма кстати. Эрик пытался уговорить меня и на третий коктейль – но я заупрямилась и настояла на имбирном пиве. Мне не хотелось ничего говорить, но я забеспокоилась, когда мой брат залпом осушил свой третий «Манхэттен» и вдогонку заказал следующий. Хотя мы регулярно переписывались (дальние междугородные звонки – даже из Нью-Йорка в Пенсильванию – по тем временам были дорогим удовольствием), виделись мы в последний раз давно, на Рождество. И честно говоря, я была шокирована тем, как он выглядит. Его долговязая фигура как будто расплылась. Цвет лица стал нездоровым. Наметился небольшой, но заметный второй подбородок. Он курил одну за другой сигареты «Честерфилд» и громко кашлял. Ему было всего двадцать восемь, но в нем уже проступал одутловатый мужчина, преждевременно состарившийся от разочарований. Да, он по-прежнему сыпал остротами и шутками, но я видела, что он очень переживает из-за своей неустроенности. Из писем я знала, что его новую пьесу (что-то о бунте рабочих-иммигрантов на юго-западе Техаса) не принял ни один театр Нью-Йорка и его единственным заработком стали рецензии на любительские рукописи, присылаемые в Театральную гильдию («Работа меня угнетает, – написал он мне в марте, – потому что приходится все время отказывать начинающим писателям. Но платят тридцать долларов в неделю, и этого как раз хватает, чтобы оплатить счета»). И когда он жадными глотками опрокинул свой четвертый «Манхэттен», я решила, что больше не могу молчать.

– Еще один «Манхэттен», и ты начнешь танцевать на столе, распевая «Янки Дудл Денди».

– Не будь пуританкой, Эс. Сейчас провожу тебя в красавицу Филадельфию, вернусь на метро в свою *студию* на Салливан-стрит и буду строчить до рассвета. Поверь мне, пять «Манхэттенов» – это всего лишь легкий допинг для вдохновения.

– Хорошо, но тебе стоит подумать и о том, чтобы перейти на сигареты с фильтром. Они гораздо мягче для горла.

– О боже! Послушайте только этого Брин-Морского аскета! Имбирное пиво, сигареты с фильтром. Еще скажи, что на следующих выборах ты будешь голосовать не за Рузвельта, а за Дьюи, если его выдвинут кандидатом в президенты.

– Ты же знаешь, что я бы *никогда* этого не сделала.

– Кажется, это была шутка, Эс. Хотя должен сказать, отец был бы шокирован, если бы ты не проголосовала за республиканца.

– Он продолжает настаивать на том, чтобы я, как примерная девочка, вернулась в Хартфорд.

– Но ты ведь не вернешься туда после колледжа?

– Он поставил меня перед жестким выбором, Эрик.

– Нет, он просто разыгрывает старый, как мир, покерский прием. Ставит по-крупному, делая вид, будто у него на руках стрит-флеш, и берет тебя на испуг. Ты можешь разоблачить его блеф, согласившись на работу в «Лайф». И хотя он будет скрипеть зубами и стонать – а может, даже и побряцает оружием в стиле Тедди Рузвельта, – в конечном итоге он смирится с твоим выбором. Вынужден будет смириться. В любом случае, он ведь знает, что я присмотрю за тобой в этом огромном и развратном городе.

– Вот это его и пугает, – сказала я и тотчас пожалела об этом.

– Почему?

– О, ты сам знаешь...

– Нет, – совершенно серьезно произнес Эрик. – Я не знаю.

– Наверное, он думает, что ты сделаешь из меня неистовую марксистку.

Эрик снова закурил. Его взгляд стал сосредоточенным, и он пытливо разглядывал меня. Мне показалось, что он вмиг протрезвел.

– Он не так сказал, Эс.

– Именно так, – ответила я, но не очень убедительно.
– Пожалуйста, скажи мне правду.
– Я сказала тебе...
– ...ему не понравилась идея, что я буду присматривать за тобой в Нью-Йорке. Но, разумеется, он объяснил, *почему* считает, будто я могу дурно влиять на тебя.
– Я действительно не помню.
– А вот теперь ты мне лжешь. А ведь мы *не* лжем друг другу, Эс. – Брат взял меня за руку и тихо сказал: – Ты должна сказать мне.
Я подняла голову и выдержала его взгляд.
– Он сказал, что не считает тебя образцом морали.
Эрик промолчал. Он лишь глубоко затянулся сигаретой и слегка закашлялся.
– Конечно, я так не думаю, – сказала я.
– В самом деле?
– Ты же знаешь.
Он затушил сигарету в пепельнице и залпом допил коктейль.
– Но если бы это было правдой... если бы я «не был образцом морали»... это имело бы для тебя значение?

Теперь настала его очередь выдержать мой взгляд. Я знала, о чем мы оба думаем: этот вопрос мы всегда обходили стороной... хотя он постоянно витал в воздухе. Так же, как и у родителей, у меня были свои подозрения насчет сексуальной ориентации брата (усугубляемые тем, что в его жизни не было ни одной девушки). Но в те времена было не принято говорить об этом вслух. Дело было интимным. Буквально. И фигурально. Открыто признаться в гомосексуализме в Америке сороковых – это было подобно самоубийству. Даже если признаться своей младшей сестре, которая тебя обожает. Так что наши разговоры на эту тему сплошь состояли из кодовых слов.

– Для меня ты человек самой высокой морали, – сказала я.
– Но отец употребляет слово «мораль» в ином смысле. Ты это понимаешь, Эс?
Я накрыла его руку ладонью:
– Да, понимаю.
– И тебя это беспокоит?
– Ты мой брат. И только это имеет значение.
– Ты уверена?
Я сжала его руку:
– Уверена.
– Спасибо.
– Заткнись, – сказала я с улыбкой.
Он в ответ пожал мне руку:
– Я всегда буду на твоей стороне, Эс. Помни это. И не переживай из-за отца. На этот раз у него ничего не выйдет.
Спустя неделю мне в Брин-Мор пришло письмо.

Дорогая Эс!

После нашей встречи в прошлую субботу я решил, что пора бы мне смотаться на денек в Хартфорд. Так что на следующее утро я прыгнул в поезд. Нет нужды говорить, что мать и отец были слегка удивлены, увидев меня на пороге. Хотя поначалу отец и отказывался, но ему ничего не оставалось, кроме как выслушать меня от твоего имени. В первый час наших «переговоров» (иначе это и не назовешь) он все твердил одно и то же: «Она возвращается в Хартфорд, и это решено». Поэтому я попытался разыграть другую карту: «Будет жаль, если ты потеряешь обоих детей». Причем старался придать своим словам оттенок трагизма,

а не угрозы. Когда он уперся и сказал, что от своего решения не отступит, я бросил: «Тогда ты обречен коротать остаток жизни одиноким старцем». С этим и уехал, вернувшись обратным поездом в Нью-Йорк.

На следующее утро, ровно в восемь (что для меня непозволительно рано), меня разбудил телефонный звонок. Это был наш дражайший отец. Его голос был по-прежнему сердитым и твердым, но тональность явно изменилась.

– Вот что я готов принять. Пусть Сара устраивается на работу в «Лайф», но только при условии, что она будет жить в женском отеле «Барбизон» на 63-й улице в Ист-Энде. Мне его рекомендовал один из моих партнеров. В отеле строгий распорядок, по ночам действует комендантский час, никаких посетителей в темное время суток. Если мы с матерью будем знать, что в «Барбизоне» за ней будет надлежащий присмотр, тогда мы уступим ее просьбе жить на Манхэттене. Поскольку ты, кажется, принял на себя роль посредника, я излагаю тебе свое предложение, чтобы ты передал его Саре. И прошу информировать ее, что она может рассчитывать на нашу любовь и поддержку, но больше мы к этому вопросу не вернемся.

Естественно, я ничего не сказал – кроме того, что передам тебе его предложение. Но если ты хочешь знать мое мнение, я считаю, что это почти капитуляция с его стороны. Так что можешь выпить пять «Манхэттенов» и распрощаться с Пенсильванией. Ты едешь в Нью-Йорк... с родительского благословения. И не переживай насчет «Барбизона». Перекантуешься там месяц-другой, а потом тихонечко переедешь в собственную квартиру. Там придумаем, что сказать отцу и матери, чтобы не нарваться на враждебную реакцию.

Да поможет нам Бог.

Твой «высокоморальный» брат,

Эрик.

Я едва не завизжала от восторга, когда дочитала его письмо. Прибежав к себе в комнату, я схватила листок бумаги, ручку и написала:

Дорогой Э.!

Сегодня же напишу письмо Ф.Д.Р. и попрошу назначить тебя главой Лиги наций (если ее реформируют после войны). Ты просто гений дипломатии! И самый лучший на свете брат. Скажи всей банде с 42-й улицы, что я скоро буду с вами...

С любовью, Эс.

Заодно я написала и короткую записку отцу, сообщив ему о том, что принимаю его условия, и заверив в том, что им не придется за меня краснеть (так я намекала на то, что останусь «хорошей девочкой», даже проживая в этом Содоме и Гоморре под названием Манхэттен).

Я так и не получила от отца ответа на свое письмо. Да я, в общем-то, и не рассчитывала. Так уж он был устроен. Но на вручение дипломов в колледже он все-таки приехал, вместе с матерью. Эрик тоже вырвался на целый день, примчавшись на поезде. После церемонии мы всей семьей пошли пообедать в местном отеле. Атмосфера за столом была напряженной. Я видела, что отец старается не смотреть на нас и сидит поджав губы. Хотя Эрик по случаю был в пиджаке и при галстукке, я знала, что пиджак этот у него единственный (потертый, из харрисского твида, купленный в комиссионке). Рубашка на нем была армейская, цвета хаки. Он выглядел, как профсоюзный лидер, и весь обед курил одну сигарету за другой (но, по крайней мере, сократил потребление алкоголя до двух «Манхэттенов»). Я была одета в строгий костюм, но отец все равно поглядывал на меня настороженно. После того как я посмела подать голос, я перестала быть его маленькой послушной девочкой. И я догадывалась, что он чувствует себя

неловко в моем присутствии (хотя, по правде говоря, отец никогда не расслаблялся в компании своих детей). Мать вела себя как обычно: нервно улыбалась и смотрела отцу в рот.

В конце концов – после натянутой беседы о прелестях Брин-Морского кампуса, отвратительном сервисе в поезде из Хартфорда и о том, в каком уголке Европы или Тихоокеанского побережья служат сыновья наших соседей, – отец вдруг взял слово:

– Я просто хочу, чтобы ты знала, Сара, что мы с матерью очень довольны твоим дипломом *cum laude*⁹. Это большое достижение.

– Но до *summa cum laude*¹⁰, как у меня, все-таки не дотянула, – усмехнулся Эрик, театрально выгнув брови.

– Большое спасибо, – сказала я.

– Всегда пожалуйста, Эс.

– Мы гордимся вами обоими, – сказала мать.

– В том, что касается учебы, – добавил отец.

– Да, – поспешила подтвердить мать, – в том, что касается вашей учебы, мы самые счастливые родители.

Это был последний раз, когда мы собрались всей семьей. Спустя шесть недель, вернувшись в отель «Барбизон» после трудового дня в «Лайф», я с удивлением увидела стоявшего в лобби Эрика. Его лицо было белым, как мел, и осунувшимся. Он испуганно посмотрел на меня – и я тотчас догадалась, что он принес плохую весть.

– Привет, Эс, – тихо произнес он, взяв меня за руки.

– Что случилось?

– Сегодня утром умер отец.

Сердце забило так сильно, что я даже слышала его стук. На какое-то мгновение я потеряла ощущение реальности. Потом почувствовала твердое пожатие рук брата. Он увлек меня к дивану, помог сесть, сам устроился рядом.

– Как? – наконец сумела выдавить я из себя.

– Сердечный приступ, прямо в офисе. Секретарша нашла его мертвым за столом. Должно быть, мгновенная смерть... и слава богу.

– Кто сообщил матери?

– Полиция. А потом мне позвонили Дэниелы. Сказали, что мама вне себя от горя.

– Еще бы, – услышала я собственный голос. – Ведь он был ее жизнью.

Я почувствовала, как комом подступили рыдания. Но сдержалась. Потому что в голове вдруг отчетливо прозвучал голос отца. «Слезы – это не выход, – сказал он мне однажды, когда я разрыдалась из-за плохой отметки по латыни. – Слезы – это проявление жалости к самому себе. А жалость к себе ничего не решает».

Как бы то ни было, я не знала, что нужно чувствовать в такой момент – кроме горечи утраты. Я любила отца. Я боялась отца. Я жаждала его нежности. Мне всегда ее не хватало. В то же время я знала, как мы дороги ему. Он просто не умел это показывать. А теперь уже и не научится. Почему-то больше всего было думать о том, что у нас больше не будет возможности сломать барьер, разделявший нас; и память об отце будет омрачена сознанием того, что нам так и не удалось поговорить по душам. Наверное, это самое тяжелое в утрате – примириться с мыслью, что все могло быть иначе, если бы в свое время ты поступил правильно.

Эрик взял на себя все заботы, и мне оставалось лишь подчиниться ему. Он помог мне собрать вещи. Потом мы на такси отправились на Пенсильванский вокзал и поездом в 8.13 утра выехали в Хартфорд. Мы устроились в вагоне-ресторане и всю дорогу выпивали. Он держался стойко, не выказывая своего горя, – я чувствовала, что он хочет быть сильным в моих

⁹ Диплом с отличием (лат.).

¹⁰ Высшее отличие (лат.).

глазах. Что удивительно, мы почти не говорили об отце или матери. Болтали о чем угодно – о моей работе в «Лайф», о работе Эрика в Театральной гильдии; обсуждали просачивающиеся из Восточной Европы слухи о нацистских лагерях смерти и пьесу Лириан Хелман «Стража на Рейне» (Эрик со знанием дела утверждал, что это полный провал); гадали, пойдет ли Рузвельт на предстоящих выборах в паре с вице-президентом Генри Уоллесом. Мы как будто все еще не могли проникнуться осознанием потери отца – тем более что оба испытывали к нему сложные и противоречивые чувства. Пока мы ехали в поезде, лишь однажды речь зашла о семье... когда Эрик сказал:

– Что ж, я думаю, теперь ты можешь переехать из «Барбизона».

– А мама не будет возражать? – спросила я.

– Поверь мне, Эс, у мамы сейчас голова занята совсем другим.

Каким же провидцем оказался Эрик. Мама была не просто убита горем – она была безутешна. Все три дня до похорон она так страдала, что наш семейный доктор держал ее на транквилизаторах. Она сумела продержаться на панихиде в местной епископальной церкви, но у могилы ей стало совсем плохо. Настолько, что доктор порекомендовал поместить ее в интернат для престарелых под наблюдение врачей.

Она уже не покинула стен этого заведения. После недели пребывания там у нее проявилось преждевременное старческое слабоумие, и мы потеряли ее окончательно. Ее осмотрел целый ряд специалистов, и все пришли к единому заключению: смерть отца вызвала у нее такое сильное потрясение, что случился удар, приведший к потере речи, памяти и моторики. Первые месяцы ее болезни мы с Эриком каждый уик-энд ездили в Хартфорд, сидели возле ее постели, все надеялись на какие-то признаки пробуждения сознания. Но по прошествии полугода врачи сказали, что вряд ли она когда-либо выйдет из этого состояния. В тот уик-энд нам пришлось принять трудное, но необходимое решение. Мы выставили наш дом на продажу. Договорились о том, чтобы личные вещи родителей были распроданы либо переданы в благотворительный фонд. Сами мы практически ничего не взяли из родительского дома. Эрик захотел оставить себе лишь маленький письменный стол из отцовской спальни. Я забрала фотографию родителей, сделанную в 1913 году, в их медовый месяц в Беркшире. Мать сидела на стуле с высокой спинкой, в белом льняном платье с длинными рукавами, ее волосы были зачесаны наверх и собраны в тугий пучок. Отец стоял рядом. Он был в темном сюртуке-визитке, жилете и рубашке с высоким накрахмаленным воротом. Левую руку он держал за спиной, а правую на плече у матери. В их лицах не было ни проблеска нежности, ни страсти, ни романтического возбуждения, да даже простого удовольствия от близости друг друга. Они выглядели напряженными, официальными, совсем не молодоженами.

В тот вечер, когда мы с Эриком разбирали личные вещи родителей – и на чердаке наткнулись на эту фотографию, – мой брат разрыдался. В первый раз после смерти отца и болезни матери я видела его слезы (в то время как я регулярно запиралась в дамской комнате редакции «Лайф» и ревела там как дурочка). Я прекрасно поняла, почему сейчас он не выдержал. Потому что эта фотография идеально точно воссоздавала тот суровый образ, который родители являли миру... и, что самое печальное, своим детям. Мы всегда думали, что та же холодность царит и в их отношениях, поскольку на людях они не демонстрировали ни нежности, ни пылкости. Только теперь мы поняли, что за этой внешней сдержанностью скрывалась страсть – любовь и привязанность столь сильные, что мать не смогла пережить разлуку с отцом. Поразительно, что мы никогда не видели эту страсть, не замечали даже ее искорки.

– Чужая душа потемки, – сказал мне Эрик в ту ночь. – Ты думаешь, что хорошо знаешь человека, – но в итоге жестоко обманываешься. Особенно если дело касается любви. Сердце – самый загадочный орган в анатомии человека.

Моим лекарством в то время была работа. Я обожала свой «Лайф». Особенно с тех пор, как четыре месяца тому назад меня перевели из стажеров на должность младшего редактора.

Еженедельно я писала не менее двух коротких статей для журнала. Задания мне давал старший редактор – Леланд Макгир, журналист старой школы, заядлый курильщик. В прошлом редактор отдела городских новостей в «Нью-Йорк дейли миррор», он перешел в «Лайф» из-за денег и свободного графика работы, но на самом деле очень скучал по бешеному ритму издательства боевой ежедневной газеты. Он явно симпатизировал мне – и вскоре после того, как я оказалась в его редакции, пригласил на ланч в «Ойстер бар», что на Центральном вокзале.

– Хочешь профессионального совета? – спросил он, когда мы расправились с рыбной похлебкой и дюжиной ракушек.

– Конечно, мистер Макгир.

– Зови меня Леланд, пожалуйста. Ну хорошо, тогда слушай. Если ты действительно хочешь стать настоящим журналистом, бросай к черту эти «Тайм» и «Лайф» и устраивайся репортером в какую-нибудь крупную ежедневную газету. Думаю, я мог бы помочь тебе в этом. Подыскать место в «Миррор» или «Ньюс».

– Вы не довольны моей работой?

– Наоборот – я думаю, ты потрясающе талантлива. Но давай начистоту: «Лайф» – это прежде всего иллюстрированный журнал. Наши старшие редакторы – сплошь мужчины, и именно их посылают освещать крупные события, вроде бомбежки Лондона, Гуадал-канала, будущей президентской кампании Ф.Д.Р. Все, что я могу поручить тебе, – это халтурка: статейки по пятьсот слов о кинопремьере месяца или модном показе, а то и просто кулинарные советы. А вот если бы ты, скажем, пошла в отдел городской хроники «Миррор», ты бы, возможно, выезжала на операции с копами, вела репортажи из зала суда, а то и получила бы какое-нибудь вкусное задание вроде очерка о заключенных-смертниках в Синг-Синге.

– Я не уверена, что освещение смертной казни – это мое, мистер Макгир.

– *Леланд!* Похоже, ты слишком хорошо воспитана, Сара. Еще «Манхэттен»?

– Боюсь, что мой лимит для ланча исчерпан.

– Тогда тебе действительно *не стоит* идти в «Миррор». А может, и наоборот – потому что, поработав там с месяц, ты научишься выпивать за ланчем по три «Манхэттена» и как ни в чем не бывало продолжать работать.

– Но мне действительно очень нравится в «Лайф». И я многому учусь здесь.

– Значит, ты не хочешь стать суперпрофи вроде Барбары Стенвик?

– Я хочу писать беллетристику, мистер Макгир... извините, *Леланд*.

– О черт...

– Я что-то не так сказала?

– Да нет. Беллетристика – это здорово. Классно. Если ты справишься.

– Я все-таки попытаюсь.

– А дальше, я так понимаю, у тебя в планах муженек, дети и чудный домик в Территауне.

– Не могу сказать, что это в списке моих приоритетов.

Он допил свой martini.

– Мне уже доводилось слышать подобное.

– Я в этом даже не сомневаюсь. Но в моем случае это правда.

– Конечно, кто спорит. Пока ты не встретишь какого-нибудь парня и не решишь, что устала от ежедневной рутины с девяти до пяти и тебе пора осесть, спрятаться за широкой спиной того, кто будет оплачивать твои счета, и красавчик из «Лиги плюща» покажется тебе вполне достойным кандидатом на окольцевание, и...

Я вдруг расслышала собственный голос с довольно жесткими интонациями:

– Спасибо за то, что опустили меня на землю.

Он опешил от моего тона:

– Черт, я, кажется, сморозил чушь.

– Конечно.

- Я не хотел тебя обидеть.
- Никаких обид, *мистер Макгир*.
- Похоже, ты всерьез рассердилась на меня.
- Не рассердилась. Я просто не люблю, когда меня представляют примитивной хищницей.
- А ты крепкий орешек.
- Разве орешек не должен быть крепким? – легко парировала я, сопроводив это саркастически сладкой улыбкой.
- Твой сорт именно таков. Напомни мне, чтобы я не смел приглашать тебя на вечерние свидания.
- Я не встречаюсь с женатыми мужчинами.
- Тебе трудно подыскать пару. Твой бойфренд должен иметь огнеупорные мозги.
- У меня нет бойфренда.
- Это для меня сюрприз.

Бойфренда у меня не было по очень простой причине: в то время я была слишком занята. У меня была работа. Появилась первая в моей жизни квартира: маленькая студия, в чудесном зеленом уголке Гринвич-Виллидж, на Бедфорд-стрит. Но главное, у меня был Нью-Йорк – и с ним у меня сложился самый красивый роман. Хотя я не раз бывала в нем наездами, жить в этом городе – это было совсем другое, и иногда мне казалось, будто я наконец попала в настоящий взрослый мир. Для меня, выросшей в степенном и консервативном Хартфорде, Манхэттен действительно был головокружительным открытием. Начать с того, что он был анонимным. В нем можно было затеряться, стать невидимкой и не бояться того, что кто-то проводит тебя осуждающим или неодобрительным взглядом (любимая привычка жителей Хартфорда). Можно было всю ночь гулять по городу. Или полсубботы провести в книжном лабиринте магазина на улице Стрэнд. Или послушать Энцио Пинца в заглавной партии Дон Жуана в Метрополитен-опера за пятьдесят центов (если ты не прочь слушать стоя). А можно было перекусить в «Линдис» в три часа ночи. Или проснуться на рассвете в воскресенье, пройтись пешком в Нижний Ист-Сайд, купить свежих бочковых разносолов на Деланси-стрит, а потом завалиться в закусочную Катца за пастроми на ржаном хлебе, приготовленными в лучших еврейских традициях.

А можно было просто ходить пешком – что я и делала бесконечно, с упоением. Совершая марш-броски с Бедфорд-стрит на север, через весь город, к Колумбийскому университету. Или через Манхэттенский мост, вверх по Флэтбуш-авеню до Парк Слоуп. Во время этих прогулок я ловила себя на мысли, что Нью-Йорк напоминает тяжеловесный викторианский роман, который заставляет тебя пробираться сквозь густую пелену эпического замысла, блуждая в побочных сюжетных линиях. Будучи пытливым читателем, я с радостью погружалась в это повествование, с нетерпением ожидая, куда заведет меня следующая глава.

Ощущение свободы было сумасшедшее. Никакого тебе контроля со стороны родителей. Я сама зарабатывала на жизнь. Ни перед кем не отчитывалась. И благодаря Эрику, мне были открыты самые экзотические места Манхэттена, известные лишь посвященным. Казалось, он был знаком со всеми загадочными обитателями этого города. Среди них были чешские переводчики средневековой поэзии. Диск-жокеи ночных джаз-клубов. Скульпторы – эмигранты из Германии. Начинающие композиторы, сочиняющие атональные оперы о похождениях рыцаря Гавейна... короче, персонажи, которых никогда не встретишь в Хартфорде. Было и много типов, повернутых на политике... они преподавали в колледжах, пописывали для малотиражных левых изданий, создавали благотворительные фонды, которые поставляли еду и одежду для «наших братских советских товарищей, самоотверженно сражающихся с фашизмом»... или просто занимались демагогией на эту тему.

Естественно, Эрик пытался вовлечь меня в свою левацкую деятельность. Но меня это попросту не интересовало. Я уважала позицию Эрика и его страстную убежденность. Точно так

же я разделяла его ненависть к социальной несправедливости и экономическому неравенству. Но я не могла согласиться с тем, что он и его единомышленники превратили свои убеждения в религиозные догмы и возвели себя в ранг первосвященников. Слава богу, в сорок первом Эрик вышел из партии. Я встречалась с некоторыми его «товарищами», когда приезжала к нему на Манхэттен еще во время учебы в колледже, и мне было предельно ясно, что они из себя представляют. Они искренне полагали, что только их взгляды единственно верные... а другие мнения не в счет. Вскоре и Эрику все это надоело, и он покинул их ряды.

Хорошо хоть никто из его приятелей-радикалов не пытался за мной ухаживать. Потому что, по большому счету, это была угрюмая и мрачная компания.

– А среди твоих знакомых нет *веселых* коммунистов? – спросила я его однажды за ланчем в закускойной «Катц».

– «Веселый коммунист» – это оксюморон, – ответил он.

– Но ты ведь веселый коммунист.

– Потише, – прошептал он.

– Я не думаю, что агенты Гувера пасутся в «Катце».

– Как сказать. К тому же я уже *бывший* коммунист.

– Но ты все равно придерживаешься левых взглядов.

– Левоцентристских. Я демократ из числа сторонников Генри Уоллеса.

– Что ж, могу тебе пообещать только одно: я никогда не буду встречаться с коммунистом.

– Из патриотических соображений?

– Нет, исключительно из тех соображений, что он никогда не сможет меня развеселить.

– А что, Горацию Кауэтту это удастся?

– Иногда.

– Разве человек по имени Гораций Кауэтт способен развеселить *хоть кого-нибудь*?

Эрик был отчасти прав – хотя на самом деле Гораций не выглядел таким нелепым, как его имя. Он был высоким и долговязым, с густой черной шевелюрой, носил очки в роговой оправе. В одежде предпочитал твидовые пиджаки и вязанные галстуки. Он был скромным, почти стеснительным, но очень умным, к тому же отменным рассказчиком, с которым всегда было интересно общаться. Мы познакомились на совместном вечере Хаверфордского и Брин-Морского колледжей и встречались весь год, пока я училась на последнем курсе. Мои родители всерьез считали его прекрасной партией – в то время как я сомневалась в этом, хотя у Горация было немало достоинств, особенно если речь заходила о романах Генри Джеймса или портретах Джона Сингера Саржента (его любимого писателя, его любимого художника). Пусть его нельзя было назвать жизнелюбом, но мне он нравился... хотя и не настолько, чтобы лечь с ним в постель. Впрочем, Гораций и не особенно настаивал на этом. Мы оба были слишком хорошо воспитаны.

Но все-таки за месяц до окончания колледжа он сделал мне предложение. Когда неделю спустя я ответила отказом, он сказал:

– Надеюсь, ты отказываешь мне только потому, что еще не готова к замужеству. Может быть, пройдет год или около того, и ты передумаешь.

– Я и сейчас знаю, что будет через год. Ничего не изменится. Потому что я просто не хочу замуж за тебя.

Он поджал губы и постарался скрыть обиду. Но ему это не удалось.

– Извини, – наконец произнес он.

– Это лишнее.

– Я не хотел показаться тебе грубияном.

– Перестань.

– Да нет, я болван.

– Что ты, в самом деле... ты просто был обстоятельным.

- Обстоятельным? Я бы сказал, *прямолинейным*.
- А я бы сказала... *назидательным*.
- Откровенным. Искренним. Честным. Но ведь все это не имеет значения, не так ли?
- Ну, с лингвистической точки зрения...

Если до этого разговора у меня еще были какие-то сомнения в правильности моего решения, то теперь они окончательно рассеялись. Мои родители – как и многие подруги по Брин-Мору – считали, что я совершаю ошибку, отказываясь выйти замуж за Горация. В конце концов, он был таким надежным. Но я была уверена в том, что обязательно встречу кого-то, в ком будет и огонек, и страсть. И потом, в двадцать два года мне совсем не хотелось бросаться в омут замужества, так и не воспользовавшись шансом познать другие возможности.

Вот почему, когда я приехала в Нью-Йорк, поиски бойфренда значились последним пунктом в списке моих приоритетов. Тем более что мне предстояло столько всего узнать в этот первый год самостоятельной взрослой жизни.

Родительский дом был продан к Рождеству – но почти все вырученные средства ушли на то, чтобы оплатить врачей и интернат для матери. Новый, 1944 год мы с Эриком встречали в убогом отеле Хартфорда, куда примчались накануне по вызову из интерната. Мама подхватила инфекцию, которая переросла в пневмонию, и никто не мог сказать с уверенностью, справится ли она с болезнью. К тому времени, как мы приехали в Хартфорд, врачам удалось стабилизировать ее состояние. Мы просидели час возле ее постели. Она была в коматозном состоянии и отсутствующим взглядом смотрела на своих детей. Мы поцеловали ее на прощание. Поскольку мы опоздали на последний поезд до Манхэттена, нам пришлось ночевать в этой привокзальной дыре. Остаток вечера мы провели в баре отеля, где пили дрянной «Манхэттен». В полночь мы спели «Доброе старое время» в компании бармена и нескольких несчастных, застрявших в пути коммивояжеров.

Так мрачно начался для нас новый год. А утром последовало еще более мрачное продолжение – мы как раз выписывались из гостиницы, когда в нашем номере раздался телефонный звонок. Я сняла трубку. Звонил дежурный врач:

- Мисс Смайт, я очень сожалею, но ваша мать скончалась пол часа назад.

Странно, но я не испытала шока и горечи (это пришло несколькими днями позже). Скорее в тот момент на меня нашло какое-то оцепенение, и в сознании промелькнула мысль: отныне моя семья – это Эрик.

Его тоже застала врасплох эта новость. Мы взяли такси и отправились в интернат. По дороге он расплакался. Я обняла его.

- Она всегда терпеть не могла Новый год, – произнес он сквозь слезы.

Похороны состоялись на следующий день. В церковь пришли двое наших соседей и секретарша отца. С кладбища мы вернулись на вокзал. В поезде, по дороге в Нью-Йорк, Эрик сказал: «Больше ноги моей не будет в Хартфорде».

Наследства как такового не было – лишь два страховых полиса. Каждый из нас получил по пять тысяч долларов – по тем временам вполне приличные деньги. Эрик тотчас оставил работу в Театральной гильдии и на год уехал в путешествие по Мексике и Южной Америке. С собой он прихватил портативный «ремингтон» – поскольку за эти двенадцать месяцев планировал написать свою главную пьесу и, возможно, собрать материал для *дневника путешественника*. Он и меня приглашал в эту поездку, но я уж точно не собиралась бросать «Лайф», где успела проработать всего лишь семь месяцев.

– Но если ты поедешь со мной, у тебя будет возможность сосредоточиться на беллетристике, – сказал он.

- Я многому учусь, работая в «Лайф».

– Учишься чему? Писать статейки в пятьсот слов о бродвейской премьере «Феминистки» или об ошейниках как модном аксессуаре года?

– Я горжусь тем, что написала и о том, и о другом, пусть даже мое имя не значится под этими статьями.

– О чем я и говорю. Как правильно тебе сказал тот парень, редактор, тебе никогда не дадут написать что-либо стоящее, потому что этим занимаются старшие редакторы, мужики. Ты ведь хочешь писать рассказы. Так что тебя останавливает? У тебя есть деньги и свобода. Мы могли бы вскладчину снять гасиенду в Мексике... писать целыми днями, и никто бы нас не беспокоил.

– Это чудесная мечта, – сказала я, – но я пока не собираюсь покидать Нью-Йорк. Я еще не готова стать вольным писателем. Сначала мне нужно найти свой путь. И работа в «Лайф» поможет мне в этом.

– Господи, какая же ты благоразумная. Не сомневаюсь, что ты максимально практично распорядишься своими пятью тысячами.

– Да, вложу в государственные облигации.

– Эс, ты меня поражаешь. Ты стала маленькой Мисс Рассудительность.

– Окончательно и бесповоротно.

Итак, Эрик подался на юг, а я осталась на Манхэттене. Днем трудилась в «Лайф», а по ночам пыталась писать короткие рассказы. Но нервотрепка на работе – вкупе с удовольствиями Манхэттена – мешала подойти к «ремингтону», который по большей части напрасно пылился в моей квартире-студии. Каждый раз, усаживаясь за машинку, я ловила себя на мысли: «*Мне ведь совершенно нечего сказать*». Или же в голове шептал предательский голос: «*А в кинотеатре на 58-й улице двойной сеанс: „Пять гробниц на пути в Каир“ и „Военно-воздушные силы“*». Или же звонила подружка, предлагая субботний ланч в «Шраффтс». Или мне срочно нужно было дописать статью для «Лайф». Или убраться в ванной. Или... я всегда находила подходящее оправдание из миллиона тех, к которым прибегают начинающие писатели в попытке сбежать из-за письменного стола.

В конце концов я решила, что хватит обманывать саму себя. Я убрала со стола «ремингтон» и спрятала его в шкаф. Потом написала Эрику длинное письмо, объясняя, почему временно откладываю свои писательские амбиции.

Я никогда не путешествовала. Я не была нигде южнее Вашингтона... не говоря уже об остальном мире. Я никогда не испытывала смертельной опасности. Я не знакома ни с кем, кто побывал в тюрьме или был осужден по приговору присяжных. Я никогда не работала в трущобах или на походной кухне. Я никогда не ходила по Аппалачской тропе, не взбиралась на гору Катадин, не сплавлялась по озеру Саранак на каноэ. Я могла бы пойти на войну добровольцем от Красного Креста. Могла бы устроиться через Администрацию общественных работ школьным преподавателем в пострадавшую от засухи Оклахому. Я могла бы заняться чем-то куда более интересным, чем занимаюсь сейчас, – и набраться жизненного опыта, которым можно было бы поделиться с людьми.

Черт возьми, я даже ни разу не влюблялась! Поэтому неудивительно, что ничего не происходит, когда я сажусь за машинку.

Я отослала письмо до востребования на адрес почтового отделения в Зихуантанехо. Эрик временно жил в этом тропическом уголке Мексики, арендуя домик на побережье. Спустя семь недель я получила ответ – написанный убористым почерком на почтовой открытке со штемпелем Тегусигальпы, Гондурас.

Эс!

Из твоего письма я понял только одно: тебе не о чем писать. Поверь мне, каждому есть что рассказать, потому что жизнь сама по себе есть увлекательный рассказ. Но, даже зная

это, нелегко преодолеть творческий кризис (это состояние мне слишком хорошо знакомо). Тут правила игры просты: если ты хочешь писать, ты будешь писать. И еще знай: если ты хочешь влюбиться, то обязательно найдешь того, кто достоин твоей любви. Но послушайся своего старшего, битого жизнью братца: никогда не ставь себе задачу влюбиться во что бы то ни стало. Потому что такие романы неизменно оборачиваются дешевой мелодрамой. Настоящая любовь сама настигнет тебя... оглушит и заставит забыть обо всем на свете.

Мне не стоило уезжать из Мексики. Самое лучшее впечатление от Тегусигальпы – это обратный автобус из Тегусигальпы. Сейчас двигаюсь на юг. Напишу сразу, как только осяду где-нибудь.

С любовью,

Э.

В течение следующих десяти месяцев – пока я упорно трудилась в «Лайф» и каждую свободную минуту посвящала Нью-Йорку – я старалась не слишком-то горевать о своей несостоявшейся литературной карьере. И я так и не встретила никого, в кого можно было бы влюбиться. Но я регулярно получала открытки от Эрика, отправленные из Белиза, Сан-Хосе, Панама-Сити, Картахены и, наконец, из Рио. Он вернулся в Нью-Йорк в июне сорок пятого, без цента в кармане. Мне пришлось ссудить ему двести долларов на первое время, пока он, устроившись на прежней квартире, искал работу.

– Как ты умудрился спустить все деньги? – спросила я.

– Жил красивой жизнью, – глуповато произнес он в ответ.

– Но мне казалось, что красивая жизнь противоречит твоим политическим принципам.

– Да, было такое. И *есть*.

– Так что же произошло?

– Думаю, всему виной обилие солнца. Оно превратило меня в исключительно щедрого и очень тупого *loco gringo*¹¹. Но я обещаю немедленно исправиться, облачившись в привычную власняницу.

Вместо этого он засел за сценарии для сериала «Бостон Блэки». Когда его оттуда выгнали, он принялся строчить шутки для шоу Джо И. Брауна. Он ни словом не обмолвился о пьесе, которую собирался написать за время добровольного изгнания – а я и не спрашивала. Его молчание говорило само за себя.

Он снова влился в широкий круг своих богемных приятелей. И в ночь на День благодарения сорок пятого года закатил для всех вечеринку.

Я уже была приглашена на ежегодную вечеринку, которую устраивал один из старших редакторов «Лайф». Он жил на 77-й улице, между Центральным парком и Колумбийским университетом, – на той самой улице, где надували воздушные шары и игрушки для парада «Мейси» в День благодарения. Я обещала Эрику, что заскочу к нему по пути домой. Но вечеринка у редактора затянулась. Из-за церемонии надувания шаров (и толп зрителей) все улицы вокруг Центрального парка оказались перекрыты, так что мне пришлось целых полчаса искать такси. Наступила полночь. Я смертельно устала. И попросила таксиста отвезти меня на Бедфорд-стрит. Как только я зашла к себе домой, зазвонил телефон. Это был Эрик. Судя по звукам, доносившимся из трубки, вечеринка была в самом разгаре.

– Где тебя черти носят? – спросил он.

– Вела офисно-политическую игру на Сентрал-парк-Вест.

– Давай срочно сюда. Слышишь, как у нас тут весело?

– Думаю, я пас... Мне нужно выспаться.

– У тебя впереди целый уик-энд для этого.

¹¹ Чокнутый иностранец (*исп.*).

– Пожалуйста, позволь мне разочаровать тебя сегодня.

– Нет. Я настаиваю на том, чтобы ты срочно села в такси и предстала *tout de suite chez moi*¹², готовая пить до рассвета. Черт возьми, это первый День благодарения без войны. Думаю, достойный повод надраться...

Я тяжело вздохнула и сказала:

– Ты меня поутру снабдишь аспирином?

– Даю слово патриота Америки.

Скрепя сердце я снова надела пальто, спустилась вниз, вызвала такси и через пять минут оказалась в гуще толпы на квартире Эрика. Здесь действительно было не протолкнуться. Громко звучала танцевальная музыка. Низкое облако табачного дыма зависало над головами. Кто-то впихнул мне в руку бутылку пива. Я обернулась. И вот тогда я увидела его. Парня лет двадцати пяти, одетого в армейскую форму цвета темного хаки, с узким лицом и резко очерченными скулами. Его взгляд блуждал по комнате. И неожиданно упал на меня. Мы встретились глазами. Всего на мгновение. Или на два. Он смотрел на меня. Я смотрела на него. Он улыбнулся. Я улыбнулась в ответ. Он отвернулся. И больше ничего не было. Лишь один мимолетный взгляд.

Меня не должно было быть там. Мне давно следовало быть дома и видеть десятый сон. С тех пор я часто спрашивала себя: если бы я не обернулась в тот момент, мы бы так никогда и не встретились?

Судьба – это все-таки случайность, не правда ли?

¹² Немедленно, у меня (*фр.*).

2

Хлопнула входная дверь. В квартиру ввалилось еще с десятков гостей. Все они были очень шумными, очень возбужденными и очень пьяными. К тому времени в гостиной стало уже так тесно, что невозможно было двигаться. Я все никак не могла отыскать в толпе своего брата – и начинала злиться на себя за то, что согласилась прийти на эту дурацкую вечеринку. Я любила друзей Эрика, но только не *в массовом скоплении*. Эрик это знал и частенько подтрунивал надо мной, упрекая в необщительности.

– Я не против общения, – возражала я. – Я всего лишь против толпы.

Особенно – можно было бы добавить – толпы в крохотной квартирке. Мой брат, наоборот, обожал шумные сборища. Друзей у него всегда было предостаточно. Тихий вечер в домашней обстановке даже не рассматривался как вариант времяпрепровождения. Ему непременно нужно было встречаться с приятелями в барах, заваливаться к кому-то на вечеринку, бежать на джазовую сходку или (при самом плохом раскладе) убивать вечер в одном из кругло-суточных кинотеатров на 42-й улице, где крутили сразу по три фильма всего за двадцать пять центов. С тех пор как он вернулся из Южной Америки, его стадный инстинкт обострился до предела, и я уже начала задумываться, как он находит время для сна. Чтобы получить работу в программе Джо И. Брауна, ему пришлось изменить имидж, как он ни сопротивлялся этому. Он подстриг волосы и перестал одеваться, как Троцкий, потому что знал, что ни один работодатель не захочет иметь с ним дело, пока он не облачится в консервативный костюм по моде того времени.

– Отец, наверное, закатывается от хохота в гробу, – сказал он однажды, – видя, как его сын, который всегда был краснее всех красных, ныне одевается у «Брукс Бразерс».

– Одежда ничего не значит, – сказала я.

– Не пытайся подсластить пилюлю. Одежда значит больше, чем ты думаешь. Все мои знакомые, видя меня в таком наряде, понимают: *это неудачник*.

– Не говори так о себе.

– Любой, кто поначалу мыслит себя вторым Бертольдом Брехтом, а заканчивает тем, что строчит репризы для радиовикторины, имеет полное право называть себя неудачником.

– Ты напишешь еще одну великую пьесу, – сказала я.

Он грустно улыбнулся:

– Эс, я в жизни не написал ни одной *великой* пьесы. Ты это знаешь. Я не написал даже *хорошей* пьесы. И это ты тоже знаешь.

Да, я действительно знала – хотя никогда бы не посмела сказать об этом. Точно так же я знала и то, что безумно насыщенная светская жизнь Эрика была своего рода анестезией. Она притупляла боль разочарования. Я знала, что у него творческий кризис. И знала причину этого кризиса: он полностью разуверился в своем таланте. Но Эрик не терпел сочувствия – и переводил разговор на другую тему всякий раз, когда я пыталась поднять этот больной вопрос. Конечно, я поняла намек и перестала лезть с расспросами, сожалея лишь о том, что не могу вывести его на откровенность, и чувствовала себя совершенно беспомощной, когда видела, как он пытается заполнить каждую минуту своей жизни кутежами и пирушками... вроде той вечеринки, которая была очередным эпизодом нескончаемого загула.

Когда шум в гостиной достиг апогея, я решила, что уйду, если не увижу брата в следующую минуту.

И тут я почувствовала, как чья-то рука коснулась моего плеча, и за спиной прозвучал мужской голос:

– У вас такой вид, будто вы ищите выход.

Я обернулась. Это был парень в армейской форме. Он стоял в паре шагов от меня, в одной руке у него был наполненный стакан, в другой – бутылка пива. Вблизи он выглядел еще более типичным ирландцем. Может, все дело было в особенном румянце кожи, квадратной челюсти, смешинке в глазах... в этом лице падшего ангела, одновременно невинном и мужественном. Он чем-то напоминал Джимми Кагни, только без присущей тому драчливости. Будь он актером, наверняка прошел бы кастинг на роль молодого священника, соборовавшего Кагни, когда того изрешетил пулями конкурирующий гангстер.

– Вы слышали, что я сказал? – прокричал он сквозь шум. – Вы как будто ищете выход отсюда.

– Да, я вас слышала. И да, вы очень наблюдательны, – сказала я.

– А вы краснеете.

Я вдруг почувствовала, что у меня горят щеки.

– Должно быть, это из-за духоты.

– Или из-за того, что я самый красивый парень, которого вы когда-либо видели.

Я осторожно взглянула на него и заметила, что он игриво вздернул брови.

– Вы красивы, это правда... но не сногшибательны.

Он окинул меня восхищенным взглядом и произнес:

– Отличный контрудар. Это не вас я видел на ринге с Максом Шеллингом в «Гарден»?

– Вы имеете в виду ботанический сад «Бронкс Гарденс»?

– А ваше имя случайно не Дороти Паркер¹³?

– Лесть вам не поможет, солдат.

– Тогда я попытаюсь напоить вас, – сказал он, впихивая мне в свободную руку бутылку. – Выпейте пивка.

– У меня уже есть, – сказала я, поднимая бутылку «Шлитца», которую держала в другой руке.

– Значит, будете пить с двух рук. Мне это нравится. А вы, часом, не ирландка?

– Боюсь, что нет.

– Странно. Мне показалось, что в вас больше от О’Салливан из Лимерика... чем от какой-то там лошадиной Кейт Хепберн...

– Я не езжу верхом, – перебила я его.

– Но вы ведь из тех, кого называют «белой костью», не так ли?

Я смирila его суровым взглядом.

– Так улыбается аристократия, я угадал?

Я попыталась удержаться от смеха. Ничего не вышло.

– Вы только посмотрите! У нее есть чувство юмора. А я-то думал, что это не входит в набор аристократа.

– Из всякого правила есть исключение.

– Рад слышать. Так что... будем выбираться отсюда?

– Простите?

– Вы сказали, что ищете выход. Я предлагаю вам его. Со мной.

– Но почему я должна идти с вами?

– Потому что вы находите меня забавным, обаятельным, интригующим, соблазнительным...

– Нет, вовсе нет.

– Лжете. Как бы то ни было, есть еще одна причина, по которой вы должны пойти со мной. Дело в том, что мы понравились друг другу.

– Кто сказал?

¹³ Дороти Паркер (1893–1967), американская писательница и поэт, известная своим юмором и проницательностью.

- Я. И вы тоже.
- Я ничего не говорила... – И в следующее мгновение расслышала собственный голос:
- Я даже не знакома с вами.
- А это имеет какое-то значение?
- Разумеется, нет. Потому что я *уже* была без ума от него. Но, естественно, не собиралась объявлять ему об этом.
- Хотя бы имя назвали, – буркнула я.
- Джек Малоун. Или сержант Джек Малоун, если вы предпочитаете официоз.
- И откуда вы родом, сержант?
- О, это рай, Валгалла, уголок, куда белые англосаксонские протестанты боятся ступить ногой...
- И называется он...?
- Бруклин. Флэтбуш, если быть точным.
- Первый раз слышу.
- Вот видите! О чем я и говорю. Для аристократов Бруклин всегда был запретной зоной.
- Ну почему же, я была на Бруклинских высотах.
- А в глубинах?
- Это туда вы меня тащите?
- Он просиял:
- Значит, по рукам?
- Я никогда не сдаюсь так легко. Тем более когда оппонент забывает спросить мое имя.
- О, черт!
- Итак, продолжайте. Задавайте свой вопрос.
- Как фас звать? – спросил он, шутливо копируя немецкий акцент.
- Я сказала. Он поджал губы.
- Смайт через *ай*?
- Впечатляет.
- О, знаете ли, нас в Бруклине тоже учат правильно произносить слова. *Смайт*...
- Он как будто пробовал мое имя на вкус, повторяя его с нарочитым английским акцентом.
- *Смайт*... Готов спорить, что когда-то, давным-давно, это было старое доброе *Смит*. Но потом один из ваших напыщенных новоанглийских предков решил, что Смит – это слишком просто, и переделал его в *Смайт*...
- Откуда вы знаете, что я родом из Новой Англии?
- Вы, должно быть, шутите. Если бы я был по натуре игроком, я бы поставил десятку на то, что ваше имя Сара пишется с одной «р».
- И выиграли бы.
- Я же говорил вам, что я крепкий орешек. *Сара*. Очень мило... если кому по душе новоанглийские пуритане.
- Я расслышала голос Эрика у себя за спиной:
- Ты хочешь сказать, вроде меня?
- А ты кто такой, черт возьми? – спросил Джек, слегка раздраженный тем, что кто-то посмел прервать наш остроумный диалог.
- Я ее пуританский брат, – сказал Эрик, обнимая меня за плечи. – Лучше скажи, кто ты такой?
- Я – Улисс С. Грант¹⁴.
- Очень смешно, – сказал Эрик.
- Это так важно, кто я?

¹⁴ Американский политический и военный деятель.

– Просто не помню, чтобы приглашал тебя на эту вечеринку, вот и все, – разулыбался Эрик.

– Так это твой дом? – добродушно произнес Джек, ничуть не смутившись.

– Bravo, доктор Ватсон, – сказал Эрик. – Может, еще расскажешь, как ты здесь оказался?

– Парень, с которым я познакомился в армейском клубе «USO» на Таймс-сквер, сказал, что у него есть друг и друг этого друга знает о гулянке на Салливан-стрит. Но послушай, я никому не хочу доставлять неудобств, поэтому ухожу сию минуту, если не возражаете.

– Зачем вам уходить? – произнесла я так поспешно, что Эрик наградил меня вопросительной и ехидной улыбкой.

– Действительно, – сказал Эрик, – зачем тебе уходить, если кое-кто явно хочет, чтобы ты остался.

– Ты точно не возражаешь?

– Друзья Сары...

– Приятно слышать.

– Где ты служил?

– В Германии. И если быть точным, то я не служил. Я был репортером.

– «Старз энд Страйпс»? – спросил Эрик, имея в виду официальную газету американской армии.

– И *как* это ты догадался? – с наигранным изумлением произнес Джек Малоун.

– Думаю, помогла твоя форма. Где базировался?

– Какое-то время в Англии. Потом, после капитуляции немцев, был в Мюнхене. Ну или в том, что от него осталось.

– А на Восточном фронте удалось побывать?

– Я пишу для «Старз энд Страйпс»... а не для «Дейли уоркер».

– Должен тебе заметить, что я вот уже десять лет читаю «Дейли уоркер», – важно произнес Эрик.

– Поздравляю, – сказал Джек. – Я тоже раньше увлекался комиксами.

– Не вижу связи, – сказал Эрик.

– Все мы родом из детства.

– «Дейли уоркер» в твоём представлении – это чтиво для малолеток?

– Причем *плохо написанное*... собственно, как большинство пропагандистских листовок. Я хочу сказать, что, если уж тебе хочется писать иеремиады о классовой борьбе, по крайней мере, делай это профессионально.

– *Иеремиады*, – съязвил Эрик. – Надо же. Мы знаем красивые слова?

– Эрик... – Я сурово посмотрела на брата.

– Я что-то не так сказал? – слегка заплетающимся языком произнес он. Вот тогда я поняла, что он попросту пьян.

– Да нет, – ответил Джек. – С *классовой* точки зрения все верно. В самом деле, как еще разговаривать с полуграмотным бруклинским ирландцем...

– Я этого не говорил, – сказал Эрик.

– Нет, просто имел в виду. Впрочем, я уже привык к тому, что всякие *парвено* смеются над моим топорным выговором...

– Нас вряд ли можно назвать парвено, – возмутился Эрик.

– Но мой французский тебя впечатлил, *n'est-ce pas?*¹⁵

– Над акцентом неплохо было бы поработать.

¹⁵ Не так ли? (*фр.*).

– А тебе над чувством юмора. Кстати, представляя низшую прослойку интеллектуалов, тех, что из Бруклина, замечу, что нахожу забавным, когда самые великие снобы мира насвистывают «Интернационал». А может, ты и «Правду» читаешь в оригинале на русском, товарищ?

– Готов поспорить, что ты один из самых преданных поклонников отца Кофлина.

– Эрик, ради всего святого, – вмешалась я, ужаснувшись тому, что он позволил себе столь провокационную реплику. Отец Чарльз Эдуард Кофлин был печально известен как глашатай правых сил, предтеча Маккарти. В своих еженедельных радиопроповедях он выступал с яростной критикой коммунистов, иностранцев и всех, кто не прогибался и не целовал национальный флаг. Его ненавидел каждый, в ком была хоть капля ума и совести. Но я с облегчением заметила, что Джек Малоун не схватил наживку.

По-прежнему невозмутимо он произнес:

– Считаю, что тебе повезло, потому что я готов зачесть это в качестве *шутки*.

Я толкнула брата локтем.

– Извинись, – сказала я.

Поколебавшись, Эрик заговорил:

– Я неудачно выразился. Прошу прощения.

Лицо Джека тут же расплылось в доброй улыбке.

– Значит, остаемся друзьями? – спросил он.

– Э-э... конечно.

– Что ж, тогда... с Днем благодарения.

Эрик нехотя пожал протянутую руку Джека:

– Да. С Днем благодарения.

– И извини, что явился незванным гостем, – сказал Джек.

– Не стоит. Будь как дома.

С этими словами Эрик поспешил удалиться. Джек повернулся ко мне.

– А что, мне даже понравилось, – сказал он.

– *В самом деле?* – удивилась я.

– Точно. Я хочу сказать, армия не блещет эрудитами. И уже очень давно меня не оскорбляли так грамотно.

– Я искренне прошу у вас прощения. Его иногда заносит.

– Как я уже сказал, это было забавно. И теперь я знаю, откуда у вас левый крен. Очевидно, это семейное.

– Никогда об этом не задумывалась.

– Вы просто скромничаете. Как бы то ни было, Сара с одной «р»... Смайт... мне действительно пора откланяться, поскольку завтра ровно в девять ноль-ноль мне заступать на дежурство.

– Тогда пошли, – сказала я.

– Но я думал...

– Что?

– Не знаю. После того шоу, что мы устроили с вашим братом, я подумал, вы уже не захотите идти со мной.

– Вы ошиблись. Если только вы не передумали...

– Нет, нет... уходим отсюда.

Он взял меня под локоть, увлекая к двери. У порога я обернулась и встретила глазами с Эриком.

– Уже уходишь? – выкрикнул он из толпы, явно недовольный тем, что меня уводит Джек.

– Завтра на ланче «У Люхова»? – прокричала я в ответ.

– Если ты туда доберешься, – сказал он.

- Поверь мне, она там будет, – бросил Джек, закрывая за нами дверь. Когда мы спустились вниз, он притянул меня к себе и страстно поцеловал. Поцелуй длился долго. А потом я сказала:
 - Ты не спросил моего разрешения.
 - Ты права. Не спросил. Можно поцеловать тебя, Сара с одной «р»?
 - Если только ты перестанешь добавлять к моему имени эту дурацкую присказку.
 - Идет.

На этот раз поцелуй длился целую вечность. Когда я наконец оторвалась от него, то едва могла устоять на ногах – так кружилась голова. Джек тоже казался пьяным. Он обхватил мое лицо ладонями.

- Ну, здравствуй, – сказал он.
- Да, здравствуй.
- Знаешь, я должен быть на Верфях...
- Ты говорил. Ровно в девять. А сейчас сколько? Еще нет и часа.
- Вычитаем время на дорогу до Бруклина, и у нас остается...
- Семь часов.
- Да, всего лишь семь часов.
- Достаточно, – сказала я и снова поцеловала его. – А сейчас купи мне что-нибудь выпить.

3

Мы оказались в «Львиной голове» на Шеридан-сквер. Накануне Дня благодарения народу в кафе было немного, и мы смогли уединиться за тихим столиком. Я быстро выпила два «Манхэттена» и позволила уговорить себя на третий. Джек предпочел «ерш»: чистый бурбон с пивом вдогонку. В «Львиной голове» всегда царил полумрак. На столиках горели свечи. Пламя нашей свечи прыгало взад-вперед, напоминая светящийся метроном. В отсветах пламени вспыхивало лицо Джека. Я не могла оторвать от него глаз. С каждой секундой он казался мне все красивее. Возможно, потому, что он и впрямь был чертовски хорош, в чем я уже успела убедиться. Великолепный рассказчик. И что самое ценное, внимательный слушатель. Мужчины становятся намного привлекательнее, когда они просто слушают.

Он сумел меня разговорить. Казалось, ему хотелось знать обо мне все – о моих родителях, о детстве, школьных днях в Хартфорде, учебе в Брин-Море, работе в «Лайф», о рухнувших писательских амбициях, о моем брате Эрике.

– Неужели он и вправду десять лет читает «Дейли уоркер»?

– Боюсь, что да.

– Он из «попутчиков»?

– Пару лет он состоял в компартии. Но в ту пору он писал пьесы для федерального театрального проекта и протестовал против всего, что пытались воспитать в нем родители. И хотя я никогда не говорила ему об этом, я действительно думаю, что своим членством в партии он просто отдавал дань моде. Красный был цветом года и стилем жизни всех его друзей... но, слава богу, он перерос этот период.

– Значит, он больше не состоит в партии?

– С сорок первого года.

– Уже кое-что. Но он по-прежнему симпатизирует «дяде Джо»¹⁶?

– Теряя веру, человек не обязательно становится убежденным атеистом, не так ли?

Он улыбнулся:

– А ты действительно писатель.

– Автор одной умной мысли? Не думаю.

– А я знаю.

– Нет, ты не можешь знать, ведь ты не видел ничего из того, что я написала.

– Покажешь мне что-нибудь?

– Да вряд ли тебе понравится.

– Похоже, ты разуверилась в себе.

– Да нет, в себя я верю. Но только не как в писателя.

– И на чем основана твоя вера?

– Моя вера?

– Да. Во что ты веришь?

– Ну это слишком емкий вопрос.

– Ответ коротко.

– Что ж, попробую... – сказала я, вдруг ощутив прилив вдохновения (спасибо выпитым «Манхэттенам»). – Хорошо... прежде всего и самое главное, я не верю ни в Бога, ни в Иегову, ни в Аллаха, ни в Ангела Морони, ни даже в Дональда Дака.

Он рассмеялся.

– Хорошо, – сказал он, – это мы выяснили.

¹⁶ «Дядя Джо» – прозвище И. В. Сталина.

– И при всей своей любви к родине я вовсе не собираюсь захлебываться в патриотизме. Оголтелый патриотизм сродни религиозному фанатизму: он пугает меня своим доктринерством. Настоящий патриотизм спокойный, осознанный, вдумчивый.

– Тем более если ты принадлежишь к новоанглийской аристократии.

Я хлопнула его по руке:

– Ты прекратишь это?!

– Ни в коем случае. Но ты уклоняешься от ответа на вопрос.

– Потому что вопрос слишком сложный... да и напилась я что-то.

– Не думай, что я позволю тебе воспользоваться этой уловкой. Обозначьте свою позицию, мисс Смайт. Итак, во что вы верите?

После короткой паузы я услышала собственный голос:

– В ответственность.

Джек опешил:

– Что ты сказала?

– В ответственность. Ты спросил, во что я верю. Я отвечаю: в ответственность.

– О, теперь понял, – произнес он с улыбкой. – *Ответственность*. Великая идея. Один из краеугольных камней нашей нации.

– Если ты патриот.

– Я – да.

– Я уже догадалась. И уважаю тебя за это. *Честно*. Но... как бы так сказать, чтобы это не прозвучало глупо? Ответственность, о которой я говорю, в которую искренне верю... знаешь, наверное, это прежде всего ответственность перед самим собой. Я действительно не так много знаю про жизнь, я не путешествовала, не занималась чем-то по-настоящему интересным... но, когда я наблюдаю за тем, что происходит вокруг меня, прислушиваюсь к тому, что говорят мои современники, я понимаю, что мне предлагают готовые рецепты решения жизненных проблем. Ну, скажем, что к двадцати трем годам непременно нужно выскочить замуж, чтобы не думать, как заработать на жизнь, какой выбрать путь, даже как проводить свободное время. Но меня пугает перспектива доверить собственное будущее другому человеку. Разве он застрахован от ошибок? И разве он не испытывает страха?..

Я замолчала.

– Наверное, все это звучит напыщенно?

Джек опрокинул стопку бурбона и сделал знак бармену, чтобы принесли еще.

– Ты отлично излагаешь, – сказал он. – Продолжай.

– Да, собственно, я уже все сказала. Добавлю только, что, вверяя свое счастье другому человеку, ты убиваешь саму возможность счастья. Потому что снимаешь с себя ответственность, перекладываешь ее на другого человека. Ты словно говоришь ему: *сделай так, чтобы я чувствовала себя цельной, совершенной, востребованной*. Но сделать это можешь только ты сама.

Он посмотрел мне в глаза:

– Значит, фактор любви не учитывается в этом уравнении?

Я выдержала его взгляд.

– Любовь и зависимость – это разные вещи. Любовь не признает категорий: *что ты можешь сделать для меня* или *ты мне нужен/я тебе нужна*. Любовь должна быть...

Я вдруг поняла, что мне не хватает слов. Пальцы наших рук переплелись.

– Любовь должна быть только любовью.

– Наверное, – сказала я и добавила: – Поцелуй меня.

И он поцеловал.

– А теперь ты должен рассказать мне что-нибудь о себе, – попросила я.

- Что, например? Какой мой любимый цвет? Мой знак зодиака? Кто мне больше нравится – Фицджеральд или Хемингуэй?
- Ну и кто же?
- Конечно, Фицджеральд.
- Согласна – но почему?
- У него ирландские корни.
- Теперь *ты* увливаешь от ответа.
- Да мне особо нечего рассказать о себе. Я простой парень из Бруклина. Вот и все.
- Ты хочешь сказать, что мне *ни к чему* знать о тебе больше?
- Не совсем.
- Твои родители могли бы обидеться, если бы слышали это.
- Они оба умерли.
- Извини.
- Не стоит. Мама умерла двенадцать лет назад – незадолго до того, как мне исполнилось тринадцать лет. Эмболия. Болезнь внезапная. И чудовищная. Моя мать была сущим ангелом...
- А отец?
- Отец умер, пока я служил за океаном. Он был копом, ужасно взрывной, вступал в перепалку по любому поводу. Особенно со мной. А еще любил выпить. Без виски и дня не мог прожить. Самоубийство в рассрочку. В конце концов, его желание осуществилось. Как и мое – отец любил охаживать меня ремнем, когда напивался... а это было постоянно.
- Кошмар.
- Пустяки, если рассуждать в масштабах Вселенной.
- Значит, ты один на белом свете?
- Нет, у меня есть младшая сестра, Мег. Она – гордость нашей семьи: сейчас учится на старшем курсе в колледже Барнарда. Получает стипендию. Впечатляющее достижение для выходца из семьи невежественных ирландцев.
- А ты не учился в колледже?
- Нет, сразу после школы я пошел в «Бруклин игл». Устроился копировальщиком. А к тому времени, как меня призвали на военную службу, уже был младшим репортером. Собственно, так я и оказался в «Старз энд страйпс». Конец истории.
- О, продолжай, пожалуйста. Ты ведь на этом не остановишься, правда?
- Не такая уж я интересная персона.
- Чувствую, как повеяло ложной скромностью, но меня этим не купишь. Каждому есть что рассказать о себе. Даже простому парню из Бруклина.
- Ты действительно готова выслушать длинную историю?
- Даже не сомневайся.
- Историю про войну?
- Если она и о тебе.

Он выудил из пачки сигарету, закурил.

– Первые два года войны я просидел в вашингтонском бюро «Старз энд страйпс». Умолял о переводе за океан. В конце концов, меня отправили в Лондон – освещать работу штаба союзных войск. Я все рвался на фронт, но мне сказали, что нужно дожидаться своей очереди. Так что я пропустил и высадку союзнических войск в Нормандии, и освобождение Парижа, и падение Берлина, и освободительную миссию янки в Италии – в общем, все «вкусные» события, которые достались старшим репортерам, ребятам с университетским образованием, в званиях выше лейтенантского. Но после долгих уговоров мне все-таки удалось добиться приписки к Седьмой армии, которая входила в Мюнхен. Для меня это стало настоящим откровением. Как только мы прибыли на место, наш батальон послали в деревню милях в восьми от города. Я решил участвовать в рейде. Деревня называлась Дахау. Задача стояла простая: освободить

узников концлагеря. Сам городок Дахау был довольно милым. Он почти не пострадал от бомбежек нашей и английской авиации, а центр практически был не тронут. Очаровательные пряничные домики. Ухоженные палисадники. Чистые улицы. И вдруг – этот лагерь. Ты что-нибудь читала про него?

– Да, читала.

– Веришь ли, все ребята из нашего батальона притихли, когда вошли в ворота лагеря. Они ожидали встретить вооруженное сопротивление лагерной охраны – но последние ее бойцы сбежали минут за двадцать до нашего появления. И то, что они... *мы*... увидели...

Он сделал паузу, как будто собираясь с духом.

– То, что мы увидели... не передать словами. Потому что это не поддается описанию. Или пониманию. Или объяснению с точки зрения простейших гуманистических принципов. Это такое *злодеяние* — такой вандализм! – что представить его невозможно даже в самом страшном сне...

Как бы то ни было, вскоре после того, как мы вошли в лагерь, поступил приказ из штаба союзников созвать в одно место всех взрослых жителей Дахау. Командир батальона – крутой парень по имени Дюпрэ, родом из Нового Орлеана, – поручил это дело двум сержантам. Хотя я провел всего несколько часов с этим батальоном, уже успел прийти к выводу, что Дюпрэ – самый большой в мире крикун. Выпускник военного колледжа «Цитадель» («Вест-Пойнт Конфедерации», как он сам называл его), он был по-настоящему бесстрашным бойцом. Но после инспекционного тура по Дахау его лицо было белым как мел. А голос опустился до шепота.

«Берите каждый по четыре человека, – приказал он сержантам, – и стучите во все двери домов и магазинов деревни. Все, кто старше шестнадцати лет – мужчины и женщины, без исключения, – должны выйти на улицу. Как только соберете всех взрослых жителей Дахау, выстроите их в колонну. Это понятно, джентльмены?»

Один из сержантов поднял руку. Дюпрэ кивком головы дал ему слово.

«А если они окажут сопротивление, сэр?» – спросил сержант.

Дюпрэ сощурился:

«Сделай так, чтобы никакого сопротивления не было, Дэвис, чего бы это ни стоило».

Но никто из жителей Дахау не оказал сопротивления американской армии. Когда наши ребята подходили к их дверям, они покорно выходили на улицу – руки за голову или вверх, женщины отчаянно жестикулировали, показывая на детей, обращаясь с мольбами на языке, которого мы не знали... хотя было совершенно очевидно, чего они все боятся. Одна молодая мама – ей было не больше семнадцати, и на руках у нее был крохотный младенец, – увидев мою форму и оружие, буквально упала к моим ногам и истошно закричала. Я пытался успокоить ее, повторяя снова и снова: «*Мы не причиним вам вреда... мы не причиним вам вреда...*», но она все билась в истерике. И разве можно было осуждать ее? В конце концов пожилая женщина схватила ее и вlepила ей крепкую пощечину, а потом что-то яростно зашептала ей на ухо. Девушка попыталась успокоиться и, прижимая ребенка к груди, встала в шеренгу, тихо всхлипывая. Пожилая женщина посмотрела на меня с боязливым уважением, кротко кивнула мне головой, словно говоря: «*Теперь она под контролем. Только, пожалуйста, не трогайте нас*».

«*Да кто вас тронет?! Кто вас тронет!* – так и хотелось мне крикнуть. – *Мы же американцы. Мы хорошие парни. Мы не враги*».

Но я ничего не сказал. Я просто кивнул ей в ответ и продолжал наблюдения.

Ушло около часа на то, чтобы собрать все взрослое население Дахау. В колонне оказалось человек четыреста, если не больше. Когда процессия медленно двинулась в сторону лагеря, многие начали выть. Уверен, они думали, будто их ведут на расстрел.

От центра городка до ворот лагеря было минут десять ходьбы. Десять минут. Расстояние в полмили, не больше. Всего десять минут отделяли эту уютную деревеньку – где все было так

чисто, опрятно и мирно – от настоящего ада. Вот почему Дахау был неповторим – жутко было представить, что всего в полумиле от его ворот продолжается обычная жизнь.

У ворот лагеря нас поджидал капитан Дюпрэ.

«Что делать с жителями, сэр?» – спросил у него сержант Дэвис.

«Просто проведите их маршем по лагерю. По *всему* лагерю. Таков приказ Объединенного командования – ходят слухи, что от самого Айка¹⁷. Они должны увидеть *все*. Не щадите их нервы».

«А потом, что делать потом, сэр?»

«Распустите по домам».

Сержанты выполнили приказ. Они провели колонну по всему лагерю, заглядывая в каждый уголок. Взорам четырехсот мирных граждан предстали бараки с кучами экскрементов на полу. Печи. Секционные столы. Горы костей и черепов, сваленных у стен крематория. Пока длилась эта экскурсия, выжившие узники концлагеря – а их было человек двести – молча стояли во дворе. Они были настолько истощены, что казались ходячими скелетами. Скажу тебе честно, ни один житель города не посмел взглянуть в глаза узникам. Они шли, понуро опустив головы. И были такими же притихшими, как и бывшие смертники.

Но вот у одного все-таки сдали нервы. Он был хорошо одет, упитан, вылитый банкир. На вид ему было лет под шестьдесят: добротный костюм, начищенные ботинки, золотые часы в нагрудном кармане. И вдруг он разрыдался. Горько и безутешно. В следующую минуту он вышел из колонны и, шатаясь, двинулся к капитану Дюпрэ. Двое наших ребят тотчас вскинули ружья. Но Дюпрэ сделал им знак не стрелять. Банкир упал на колени перед капитаном, истерично всхлипывая. И начал твердить одну и ту же фразу. Он повторял ее снова и снова, так что я заучил ее наизусть.

*«Ich habe nichts davon gewußt... Ich habe nichts davon gewußt... Ich habe nichts davon gewußt...»*¹⁸

Дюпрэ смотрел на него сверху вниз, явно озадаченный. Потом он позвал Гаррисона – переводчика при батальоне. Гаррисон был застенчивым малым, из тех начитанных умников, что робеют смотреть в лицо собеседнику. Сейчас он стоял рядом с капитаном, широко раскрытыми глазами уставившись на плачущего банкира.

«Что он там несет, Гаррисон?» – спросил Дюпрэ. Речь банкира стала уже настолько невнятной, что Гаррисону пришлось присесть возле него на корточки.

Через какое-то время он поднялся.

«Сэр, он говорит: „Я не знал... Я не знал...“».

Дюпрэ побелел от злости. Он вдруг нагнулся и, схватив банкира за лацканы пиджака, поднял его, так что они оказались лицом к лицу.

«Как же не знал, черт тебя дери!» – прошипел Дюпрэ, потом плюнул ему в лицо и оттолкнул в сторону.

Банкир поплелся обратно в строй. Пока жители городка маршировали по лагерю, я не спускал с него глаз. Он даже не попытался стереть с лица плевки Дюпрэ. И все бормотал себе под нос: *«Ich habe nichts davon gewußt... Ich habe nichts davon gewußt...»* Стоявший рядом со мной солдат сказал: «Только послушай этого сукина сына. Он совсем свихнулся».

Но я думал, что это все-таки слова раскаяния. «Аве Мария». Или что там еще, что говоришь самому себе, пытаясь покаяться, вымолить прощение. И я искренне сочувствовал тому человеку. Я чувствовал, что на самом деле он хочет сказать: *«Да, я знал о том, что происходит в этом лагере. Но я ничего не мог поделать. Поэтому я просто закрыл на это глаза... и убедил себя в том, что жизнь в моей деревне течет, как и прежде»*.

¹⁷ Аик – прозвище Д. Эйзенхауэра.

¹⁸ Я этого не знал (нем.).

Джек выдержал паузу.

– Наверное, мне уже никогда не вычеркнуть из памяти этого толстяка в костюме, повторяющего «*Ich habe nichts davon gewußt*» снова и снова, снова и снова. Потому что это была отчаянная мольба о прощении. И мольба эта основана на пугающей человеческой слабости: все мы делаем то, что должны делать, чтобы выжить.

Джек потянулся за сигаретой, оставленной в пепельнице. Она уже потухла, он достал из пачки следующий «Честерфилд» и закурил. После первой затяжки я вытащила сигарету у него изо рта и жадно затянулась.

– Я не знал, что ты куришь, – сказал он.

– Я не курю. Балуюсь. Особенно когда впадаю в задумчивость.

– У тебя сейчас такое настроение?

– Ты мне подкинул столько пищи для размышлений.

Какое-то время мы молчали, по очереди передавая сигарету друг другу.

– Ты простили того немецкого банкира? – наконец спросила я.

– Простили ли? Черт возьми, нет. Он заслуживал своей вины.

– Но ты ведь сочувствовал ему, не так ли?

– Конечно, сочувствовал. Но отпущения грехов не мог бы предложить.

– А вот представь себя на его месте. Скажем, ты бы управлял местным банком, у тебя были бы жена, дети, красивая и спокойная жизнь. Но, предположим, ты знал о том, что через дорогу от твоего пряничного домика находится скотобойня, где забивают невинных мужчин, женщин, детей – и все потому, что твое правительство решило, будто они враги государства. Ты бы поднял голос протеста? Или поступил бы так же, как он, – спрятал голову в песок и продолжал жить как ни в чем не бывало, притворяясь, будто ничего не замечаешь?

Джек сделал последнюю затяжку и затушил сигарету в пепельнице.

– Хочешь честный ответ? – спросил он.

– Конечно.

– Тогда слушай: я не знаю, как бы я поступил.

– Это действительно честный ответ, – сказала я.

– Все любят рассуждать о том, что нужно «поступать правильно», отстаивать свою позицию, думать о так называемом *всеобщем благе*. Но все это пустые слова. Когда ты оказываешься на передовой, под артиллерийским обстрелом, то понимаешь, что ты вовсе не герой. И пригибаешься под пулями.

Я погладила его по щеке:

– Значит, ты бы не назвал себя героем?

– Нет. Я всего лишь романтик.

Он поцеловал меня глубоким и долгим поцелуем. Когда поцелуй закончился, я притянула его к себе и прошептала:

– Давай уйдем отсюда.

Он замялся. Я спросила:

– Что-нибудь не так?

– Я должен кое-что прояснить, – сказал он. – Мне не просто на Бруклинские верфи нужно попасть сего дня.

– А куда?

– В Европу.

– В Европу? Но ведь война окончена. Зачем тебе в Европу?

– Я записался добровольцем...

– *Добровольцем*? Так уже воевать негде, куда идти добровольцем?..

– Войны, может, и нет, но в Европе все еще большой контингент американской армии, помогает урегулировать там всякие вопросы насчет беженцев, расчистки завалов после бомбе-

жек, репатриации военнопленных. В «Старз энд страйпс» мне предложили контракт на освещение послевоенного обустройства Европы. Для меня это возможность досрочного получения звания лейтенанта, не говоря уже о приличных командировочных. Так что...

– И надолго этот наряд вне очереди?

Он опустил голову, избегая моего взгляда:

– Девять месяцев.

Я промолчала... хотя девять месяцев вдруг показались мне вечностью.

– Когда ты подписался на эту командировку? – тихо спросила я.

– Два дня назад.

О боже, нет...

– Мне, как всегда, не везет, – сказала я.

– Мне тоже.

Он снова поцеловал меня. Потом прошептал:

– Мне лучше сейчас сказать тебе «прощай».

Я почувствовала, как мое сердце замерло, пропустив удар... или даже три. На какое-то мгновение я задалась вопросом, в какое безумство я ввязываюсь. Но это мгновение испарилось. И осталась одна только мысль: *вот оно*.

– Нет, – сказала я. – Не говори «прощай». Во всяком случае, не сейчас. Еще нет девяти ноль-ноль.

– Ты уверена?

– Да. Я уверена.

От Шеридан-сквер до моей квартиры на Бедфорд-стрит было всего пять минут ходьбы. Мы не сказали ни слова, пока брели по пустынным улицам, лишь крепче прижимались друг к другу. Молча мы поднимались по лестнице. Я открыла дверь. Мы вошли. Я не предложила ему ни выпивки, ни кофе. А он и не спрашивал. Он даже не огляделся. Не позволил себе восхищенных восклицаний по поводу моей квартиры. Не было и нервной болтовни вместо прелюдии. Потому что нам в тот момент больше ничего не хотелось говорить. И потому что – как только за нами захлопнулась дверь – мы бросились раздевать друг друга.

Он даже не спросил, в первый ли это раз у меня. Он просто был исключительно нежным. И страстным. И слегка неуклюжим... впрочем, как и я.

Потом от него повеяло холодком. Он как будто прятался за завесой отчужденности, стесняясь того, что слишком открылся мне.

Я лежала, прижимаясь к нему, среди смятых и влажных простыней. Мои руки обнимали его. Губы лениво блуждали по его загривку. Я первой нарушила молчание, длившееся вот уже час.

– Я никогда не выпущу тебя из этой постели.

– Это обещание? – спросил он.

– Хуже, – сказала я. – Клятва.

– Это уже *серьезно*.

– Любовь – дело серьезное, мистер Малоун.

Он повернулся ко мне:

– Можно ли считать это объяснением в любви, мисс Смайт?

– Да, мистер Малоун. Именно так. Мои карты, что называется, открыты. Это пугает тебя?

– Наоборот... Я не собираюсь выпускать *тебя* из этой постели.

– Это обещание?

– На ближайшие четыре часа – да.

– А потом?

– А потом я снова стану собственностью американской армии, которая в настоящий момент задает курс моей жизни.

– Даже в вопросах любви?

– Нет, любовь – это не подконтрольная им территория.

Мы снова замолчали.

– Я вернусь, – наконец произнес он.

– Я знаю, – сказала я. – Если ты выжил на войне, то справишься и с восстановлением мирового порядка. Вопрос в другом: вернешься ли ты *ко мне*?

Едва я произнесла эту фразу, как тотчас возненавидела себя за это.

– Послушай, – поспешно сказала я. – Наверное, это звучит так, словно я предъявляю какие-то права на тебя. Извини, я глупая.

Он крепче прижал меня к себе.

– Ты не просто глупая, – сказал он. – Ты глупая *по определению*.

– Зря смеешься, парень из Бруклина, – шутливо произнесла я, целясь ему в грудь пальцем. – Я не так-то легко отдаю свое сердце.

– Нисколько не сомневаюсь в этом, – сказал он, покрывая поцелуями мое лицо. – И можешь не верить, но я тоже.

– Там, в Бруклине, ты случайно не прячешь какую-нибудь девчонку?

– Нет. Даю слово.

– А может, какая-нибудь фрейлейн ждет тебя в Мюнхене?

– Опять мимо.

– Наверное, Европа манит тебя своей романтикой...

Молчание. Как же я злилась на себя за свой острый язык. Джек улыбнулся:

– Сара...

– Я знаю, знаю. Просто... Черт возьми, это же несправедливо, что завтра ты уезжаешь.

– Послушай, если бы я встретил тебя два дня назад, я бы ни за что не подписался на эту командировку...

– Но мы встретились не два дня назад. Мы встретились сегодня. И вот теперь...

– Речь всего лишь о девяти месяцах, не больше. Первого сентября тысяча девятьсот сорок шестого года я – дома.

– Но ты найдешь меня?

– Сара, я собираюсь писать тебе каждый день на протяжении этих девяти месяцев...

– Да ладно, это уж ты замахнулся. Можно и через день.

– Если я захочу писать тебе каждый день, я буду писать каждый день.

– Обещаешь?

– Обещаю, – сказал он. – А ты будешь здесь, когда я вернусь?

– Ты же знаешь, что буду.

– Вы просто прелесть, мисс Смайт.

– Вы тоже, мистер Малоун.

Я опрокинула его на спину, села верхом на него. На этот раз мы были уже не такими робкими и неуклюжими. Напротив, мы потеряли всякий стыд. Хотя, признаюсь, мне было очень страшно. Ведь только что я отдала свое сердце незнакомцу... который к тому же собирался за океан на целых девять месяцев. Как бы я ни старалась заглушить в себе эту боль, я знала, что она будет невыносимой.

Ночь растаяла. Сквозь шторы пробивался тусклый свет. Я покосилась на будильник, что стоял на прикроватной тумбочке. Семь сорок. Инстинктивно я крепче прижала его к себе.

– Я кое-что решила, – сказала я.

– Что?

– Оставить тебя своим пленником на следующие девять месяцев.

– А потом, когда ты меня отпустишь, армия засадит меня в тюрьму еще на пару лет.

– Ну, по крайней мере, ты будешь в моем полном распоряжении целых девять месяцев.

- Через девять месяцев ты сможешь держать меня возле себя, сколько пожелаешь.
- Хочется верить.
- Верь.

Он спрыгнул с постели и принялся собирать раскиданную по полу одежду.

- Мне пора.
- Я провожу тебя до верфи, – сказала я.
- Это не обязательно...
- Обязательно. Еще целый час я смогу быть с тобой.

Он потянулся и взял меня за руку.

- Туда долго ехать на метро, – сказал он. – И это все-таки Бруклин.
- Ты стоишь того, чтобы ради тебя совершить поездку в Бруклин, – ответила я.

Мы оделись. Я засыпала кофе «Максвелл Хаус» в свой крохотный кофейник и поставила его на огонь. Когда коричневая жидкость закипела и грозно вспучилась, я разлила кофе по чашкам. Мы чокнулись, но ничего не сказали. Кофе был жидким и безвкусным. Хватило минуты, чтобы проглотить его. Джек посмотрел на меня.

- Пора, – сказал он.

Мы вышли из квартиры. Утро Дня благодарения 1945 года было холодным и ясным. Слишком ясным для двух влюбленных, которые ночью не сомкнули глаз. Мы шурились всю дорогу до станции метро Шеридан-сквер. Поезд на Бруклин был пустым. Пока он мчался по Нижнему Манхэттену, мы сидели молча, прижавшись друг к другу. Как только пересекли Ист-Ривер, я сказала:

- У меня нет твоего адреса.

Джек достал из кармана два спичечных коробка. Один вручил мне. Потом вынул из нагрудного кармана огрызок карандаша. Лизнув грифель, он нацарапал на картонке коробка армейский почтовый адрес и передал мне. Я написала свой адрес на другом коробке, который он тотчас положил в карман рубашки, застегнув для верности на пуговицу.

- Только попробуй потерять, – сказала я.
- Теперь это моя самая ценная вещь. А ты будешь мне писать?
- Постоянно.

Поезд все мчался по дну реки, а потом по подземному Бруклину. Когда он остановился на станции Баро-Холл, Джек сказал:

- Вот мы и приехали.

Мы снова выбрались на свет, прямо по соседству с верфями. Нас окружал унылый заводской пейзаж, в доках стояли фрегаты и боевые корабли. Все они были выкрашены в серый цвет, цвет морских баталий. Мы оказались не единственной парочкой у ворот верфи. Таких было шесть или семь. Одни обнимались у фонарного столба, другие шептали прощальные заверения в любви или просто смотрели друг на друга.

- Похоже, мы не одиноки, – сказала я.
- В этом проблема армии, – сказал он. – Никакой личной жизни.

Мы остановились. Я развернула его к себе:

- Давай покончим с этим, Джек.
- Ты говоришь, как Барбара Стенвик, образец стойкости.
- Кажется, в фильмах про войну это называется «пытаться быть сильной».
- Что нелегко, правда?
- Правда. Поэтому поцелуй меня. И скажи, что любишь.

Он поцеловал меня. Сказал, что любит. Я прошептала те же слова ему.

– И последнее, – сказала я, вцепившись в лацканы его кителя. – Только посмей разбить мое сердце, Малоун...

С этим я отпустила его.

– А теперь иди на свой корабль, – сказала я.

– Слушаюсь, мэм.

Он развернулся и пошел к воротам. Я молча смотрела ему вслед, призывая себя быть сдержанной и *благоразумной*. Охранники распахнули ворота. Джек обернулся и крикнул мне:

– Первого сентября.

Я крепко закусила губу, потом прокричала в ответ:

– Да, первого сентября... без опоздания.

Он приложил руку к фуражке и отдал мне честь. Я выдавила из себя улыбку. Он прошел на территорию верфи.

Какое-то время я не могла двинуться с места. Я просто смотрела прямо перед собой, пока Джек не исчез из виду. У меня возникло ощущение, будто я падаю – как если бы шагнула в пустую шахту лифта. В конце концов мне все-таки удалось вернуться к станции метро, спуститься вниз, сесть на поезд до Манхэттена. Одна из тех женщин, что встретились мне у ворот верфи, сидела сейчас передо мной. На вид ей было не больше восемнадцати. Как только поезд отъехал от станции, у нее началась истерика, и громкие безудержные рыдания долго сотрясали пустой вагон.

Будучи дочерью своего отца, я не знала, что такое плакать на людях. Горе, печаль, страдания – все нужно было сносить молча: так было заведено у Смайтов. Расслабиться позволялось только за закрытыми дверями, в уединении собственной комнаты.

Так что всю дорогу до Бедфорд-стрит я держала себя в руках. Но как только за мной закрылась дверь квартиры, я рухнула на кровать и дала волю чувствам.

Я плакала. Я редела. Я выла. И все повторяла про себя: *ты дура*.

4

– Ты действительно хочешь знать мое мнение? – спросил Эрик.

– Конечно, – ответила я.

– Значит, сказать *честно*?

Я нервно кивнула головой.

– Тогда слушай: ты идиотка.

Я судорожно глотнула воздух, потянулась к бутылке с вином, наполнила свой бокал и залпом отпила половину.

– Спасибо тебе, Эрик, – наконец произнесла я.

– Ты просила дать честный ответ, Эс.

– Да. Верно. Ты, конечно, молодец.

Я осушила свой бокал, снова потянулась к бутылке (это была уже вторая) и долила себе вина.

– Извини за тупость, Эс, – сказал он. – Но я не вижу повода напиваться.

– Каждый человек иногда имеет право выпить чуть больше положенного. Особенно если есть что праздновать.

Эрик посмотрел на меня скептически:

– И что мы здесь празднуем?

Я подняла бокал:

– День благодарения, конечно.

– Что ж, тогда поздравляю, – криво ухмыльнулся он и чокнулся со мной.

– И должна тебе сказать, что в этот День благодарения я счастлива, как никогда. Я просто с ума схожу от счастья.

– Да уж, сумасшествие здесь ключевое слово.

Согласна, я была слегка навеселе. Не говоря уже о том, что взбудоражена от избытка чувств. Сказывалась и физическая усталость. Ведь мне удалось справиться со слезами всего за час до ланча с Эриком «У Люхова». Так что не было времени восстановить силы (хотя бы коротким сном). Пришлось наспех принять ванну, подогреть остатки кофе, сваренного еще утром, и попытаться не заплакать при виде забытой в раковине чашки, из которой недавно пил Джек. Взбодрившись прокисшим кофе, я поймала такси и рванула на 14-ю улицу.

Ресторан «У Люхова» был нью-йоркской достопримечательностью: огромное германо-американское заведение, которое, как говорили знающие люди, было скопировано с «Хофбройхаус» в Мюнхене – хотя мне его экстравагантный интерьер всегда напоминал декорации фильмов Эриха фон Штрогейма¹⁹. Германский ар-деко... только, пожалуй, в превосходной степени. Думаю, своим абсурдом он и притягивал Эрика. К тому же брат (как и я) питал слабость к «люховским» шницелям, колбаскам и *Frankenwein*²⁰... хотя во время войны администрация ресторана намеренно прекратила подавать германские вина.

Я немного опоздала, поэтому застала Эрика уже за столиком. Он дымил сигаретой, зарывшись в утренний номер «Нью-Йорк таймс». Когда я подошла, он поднял голову и, как мне показалось, был изумлен.

– О, мой бог, – мелодраматично воскликнул он. – Любовь видна невооруженным глазом.

– Неужели так заметно? – спросила я, усаживаясь.

– О нет... ни чуточки. Только твои глаза краснее, чем губная помада, и от тебя исходит так называемое посткоитальное *сияние*...

¹⁹ Эрих фон Штрогейм (1885–1957), американский режиссер и актер, по национальности австриец.

²⁰ Вина, изготавливаемые в долине реки Майн (нем.).

– Шш... – шикнула я на него. – Люди услышат...

– Им нет нужды слушать меня. Достаточно взглянуть на тебя. И все сразу станет ясно. Похоже, ты влюбилась не на шутку?

– Да. Влюбилась.

– И где же, скажи на милость, твой Дон Жуан в гимнастерке?

– На военном корабле, следует в Европу.

– О, замечательно. Так у нас не просто любовь, а еще и разбитое сердце. Похвально. Просто похвально. Официант! Бутылочку чего-нибудь игристого, пожалуйста. Нам срочно нужно выпить...

Потом он посмотрел на меня и сказал:

– Итак. Я весь внимание. Рассказывай все без утайки.

Будучи круглой душой, я так и сделала, уговорив при этом без малого две бутылки вина. Я всегда все рассказывала Эрику. Для меня он был самым близким человеком на свете. Он знал меня лучше, чем кто бы то ни было. Вот почему я так боялась рассказывать ему про ночь с Джеком. Эрик очень трепетно относился ко мне и всегда стоял на страже моих интересов. Нетрудно было предположить, как он мог бы интерпретировать эту историю. Отчасти поэтому я и пила так быстро и так много.

– Ты действительно хочешь знать мое мнение? – спросил Эрик, когда я закончила свой рассказ.

– Конечно, – ответила я.

– Значит, сказать *честно*?

И вот тогда я услышала, что я идиотка. Я выпила еще немного вина, провозгласила тост в честь Дня благодарения и позволила себе неосторожную реплику о том, что схожу с ума от счастья.

– Да, сумасшествие здесь ключевое слово, – заметил Эрик.

– Я знаю, все это кажется бредом. И ты наверняка думаешь, что я веду себя как подросток...

– Эта штука любого превращает в пятнадцатилетнего недотепу. Что одновременно здорово и опасно. Здорово, потому что... как ни крути, только влюбленность дарит состояние блаженного вихря.

Я решила рискнуть и развить эту щекотливую тему:

– Тебе знакомо это состояние?

Он потянулся за сигаретой и спичками:

– Да. Знакомо.

– И часто ты его испытывал?

– Да нет, что ты, – сказал он закуривая. – Всего раз или два. И хотя поначалу это очень бодрит, самое главное – не разочароваться потом, после того, как пройдет первоначальное опьянение. Вот тогда действительно может стать очень больно.

– С тобой такое было?

– Если ты хоть раз в жизни любил по-настоящему, значит, страдал.

– Неужели всегда происходит именно так?

Он принялся постукивать по столу указательным пальцем правой руки – верный признак того, что он нервничает.

– По своему опыту могу сказать, что да.

Он бросил на меня взгляд, в котором явственно читалось: *больше никаких вопросов*. Что ж, эта сторона его жизни вновь оказалась для меня запретной территорией.

– Я просто не хочу видеть тебя страдающей, – сказал он. – Тем более что... мм... я так полагаю, это у тебя было впервые.

Я кивнула головой и добавила:

– Но, предположим, если ты уверен в своих чувствах...

– Не сочти меня педантом, но уверенность – эмпирическая концепция. А эмпиризм, как тебе известно, не привязан к теории... в его основе метод проб и ошибок. Скажем, существует уверенность в том, что солнце встает на востоке и заходит на западе. Точно так же есть уверенность в том, что жидкость замерзает при температуре ниже нуля и что если ты выпрыгнешь из окна, то непременно окажешься на земле. Но нет никакой уверенности в том, что ты погибнешь в результате этого падения. Вероятность – да. Уверенность? Кто знает? То же самое и в любви...

– Ты хочешь сказать, что любовь можно сравнить с падением из окна?

– Если вдуматься, совсем не плохая аналогия. Тем более, если это *coup de foudre*²¹. Представь: у тебя обычный день, ты вовсе не помышляешь ни о каком романе, и вдруг ты неожиданно оказываешься в каком-то месте, и там тебе на глаза попадается этот человек... все, *шлеп*.

– Шлеп? Какое очаровательное сравнение.

– Ну, это всего лишь конечный результат свободного падения. Первый нырок действительно опьяняет. Но потом неизбежен *шлепок*. Иначе говоря, возвращение на землю.

– Но представь... только представь... что все это предопределено судьбой?

– Мы опять вторгаемся в неэмпирические сферы. Ты хочешь *верить*, что этот человек – любовь всей твоей жизни и вам суждено было встретиться. Но всякая вера – это всего лишь теория. Она не основана на фактах, не говоря уже о логике. Нет никаких эмпирических доказательств того, что этот Джек Малоун – тот самый мужчина, который предназначен тебе судьбой. Только *надежда* на то, что это так. И если рассуждать чисто теоретически, надежда – еще более шаткая конструкция в сравнении с верой.

Я уже была готова вновь потянуться к бутылке, но в последний момент передумала.

– А ты и впрямь педант, – сказала я.

– Когда это необходимо. К тому же я – брат, который очень любит тебя. Вот почему я призываю тебя к осторожности.

– Тебе не понравился Джек.

– Да не в этом дело, Эс...

– Но если бы он тебе понравился, возможно, ты бы не был таким скептиком.

– Я виделся с ним... ну, сколько?... от силы пять минут. Так, перебросились какими-то колкостями. Разбежались. Вот и все.

– Когда ты познакомишься с ним поближе...

– *Когда?*

– Он вернется первого сентября.

– О боже, послушать тебя, так...

– Он обещал вернуться. Он поклялся...

– Эс, ты что, растеряла остатки здравого смысла? Где твое благоразумие? Из того, что ты мне тут наговорила, я могу сделать вывод, что этот парень тот еще фантазер... да и ловелас к тому же. Классическая ирландская комбинация.

– Ты несправедлив...

– Выслушай меня. Он в увольнительной, верно? Вламывается ко мне на вечеринку. Знакомится с тобой – возможно, самой образованной и самой элегантной женщиной из всех, кого он встречал до сих пор. И вот он включает свое ирландское обаяние. И прежде чем ты успеваешь опомниться, заверяет тебя в том, что именно ты девушка его мечты: «*Та самая, назначенная мне судьбой*». При этом он прекрасно сознает, что может нести всю эту чушь без всяких обязательств – потому что ровно в девять утра его уже здесь не будет. И, дорогая моя, если только я правильно все понял, ты больше никогда не услышишь о нем.

²¹ Любовь с первого взгляда (*фр.*).

Я очень долго молчала. Просто сидела опустив голову. Эрик попытался утешить меня.

– На худой конец, это всего лишь жизненный опыт. В каком-то смысле его исчезновение даже к лучшему. Потому что он навсегда останется «тем самым парнем», с которым ты провела незабываемый романтический вечер. И в твоей памяти сохранится его блистательный образ. В то время как, если бы вы поженились, ты вполне могла бы обнаружить, что он любит стричь ногти на ногах прямо в постели, или громко рыгает, или смачно сплевывает...

– *Шлен*. Ты снова вернул меня на землю.

– А что еще остается брату? Как бы то ни было, готов спорить, что, хорошенько выпавшись, ты совсем по-другому оценишь все произошедшее.

Но в этом он ошибся. Да, я отлично выпалась в ту ночь. Проспала десять часов. Но когда я проснулась поздним утром, то сразу же подумала о Джеке. Он завладел моим сознанием в тот самый миг, когда я открыла глаза... и уже не покидал меня. Я села в кровати и мысленно воспроизвела – кадр за кадром – ту ночь, когда мы были вместе. Я помнила все до мелочей – вплоть до интонаций его голоса, очертаний его лица, нежности его прикосновений. Хотя я и пыталась внять советам брата – снова и снова повторяя себе, что все это было лишь случайной встречей, – аргументы меня не убеждали.

Да что там говорить, я и сама знала, почему не стоит обольщаться насчет Джека Малоуна. Проблема была в другом: я не хотела прислушиваться к голосу разума.

Вот что было самое тревожное – упрямство, с которым я отвергала всякую логику, благо-разумие, старый и добрый новоанглийский здравый смысл. Я напоминала себе адвоката, который пытается отстоять дело, в которое не верит. Как только мне начинало казаться, что я уже способна мыслить рационально, образ Джека всплывал в памяти... и я снова тонула в безрассудстве.

Была ли это любовь? В ее самой чистой и первозданной форме? Во всяком случае, никакого другого определения своим чувствам я не находила – разве что могла сравнить этот внезапный, сбивающий с ног вихрь с острой вспышкой гриппа.

Беда в том, что, в отличие от гриппа, любовная лихорадка не проходила. Более того, она усугублялась с каждым днем.

Джек Малоун стал моей навязчивой идеей. Боль от разлуки с ним была невыносимой.

Воскресным утром, в уик-энд Благодарения, мне по звонил Эрик. Это был наш первый разговор после встречи «У Люхова».

– А... привет, – безучастно произнесла я.

– О, дорогая...

– О, дорогая, *что?* – довольно грубо спросила я.

– Дорогая, судя по голосу, ты не слишком рада моему звонку.

– Я рада.

– Да, радость так и сквозит в твоем голосе. Я просто звоню узнать, не спустились ли к тебе с небес боги равновесия и здравого смысла?

– Нет, не спускались. Что-нибудь еще?

– Я все-таки замечаю некоторую грубость в твоем тоне. Хочешь, я приеду к тебе?

– Нет!

– Отлично.

И вдруг я услышала собственный голос:

– Да. Приезжай. *Сейчас*.

– Что, все так плохо?

Я с трудом сглотнула:

– Да, плохо.

Мне становилось все хуже. Нарушился сон. Каждую ночь – между двумя и четырьмя часами – я вдруг просыпалась. Лежала, уставившись в потолок, страдая от пустоты, одиноче-

ства и жуткой тоски. И не было никакого логического объяснения этой моей тяги к Джеку Малоуну. Она просто присутствовала. Дурмящая. Иррациональная. Абсурдная.

Не в силах бороться с бессонницей, я вставала с постели, садилась за стол и писала Джеку. Я писала ему каждый день. Обычно я ограничивалась почтовой открыткой – но могла часами мучиться, перекраивая слова и фразы, прежде чем пять строчек ложились на бумагу.

Все письма Джеку я писала под копирку. Иногда я доставала папку, в которой держала копии, и перечитывала этот пухнувший день ото дня том любовной переписки. Каждый раз, закрывая папку, я говорила себе: *это какой-то бред*.

По прошествии нескольких недель ситуация стала казаться мне еще более бредовой. Потому что я так и не получила ни одного письма от Джека.

Поначалу я пыталась найти какое-то рациональное объяснение отсутствию вестей от моего возлюбленного. Мысленно я следовала его маршрутом, высчитывала: дней пять на то, чтобы морем добраться до Европы, еще пара дней на дорогу до места назначения в Германии, потом недели две его письмо будет идти через Атлантику (следует помнить, что все это было задолго до появления авиапочты). Добавить к этому усталость после долгой дороги да рождественскую перегрузку на почте, а если еще и представить, сколько американских солдат расквартировано по всему миру... короче, до Рождества я так и не получила от него весточки.

Но вот наступил Новый год. А от Джека по-прежнему не было ни строчки... хотя я и продолжала писать ему каждый день.

Я ждала. Напрасно. Январь плавно сменился февралем. Каждый день я маниакально ждала письма. Мешок с почтой приносили примерно в половине одиннадцатого утра. Комендант часа два разбирал письма, потом раскладывал их у порога квартир. Я перестроила свой рабочий график в «Лайф» так, чтобы в половине первого забежать домой, проверить почту, потом на метро вернуться в офис к четверти второго (как раз заканчивался перерыв на ланч). Целых две недели я строго придерживалась этого расписания, каждый день теша себя бессмысленной надеждой на то, что вот сегодня наконец придет долгожданное письмо от Джека.

Но я возвращалась в офис с пустыми руками. И с каждым днем надежды оставалось все меньше, зато усиливалось чувство утраты. Тем более что бессонница начала одолевать меня с беспощадной силой.

Однажды около полудня Леланд Макгир заглянул в мою каморку.

– Хочу подкинуть тебе выгодную работенку на уик-энд, – сказал он.

– О... в самом деле? – рассеянно произнесла я.

– Что ты думаешь о Джоне Гарфилде?

– Замечательный актер. Симпатичный. По своим политическим взглядам ближе к левым...

– Ну, что касается последнего аспекта, пожалуй, лучше обойдем его стороной. Не думаю, что мистера Люса приведут в восторг социалистические идеи Гарфилда, изложенные на страницах журнала «Лайф». Гарфилд – красавчик. Женщины без ума от него. Поэтому я хочу, чтобы ты обыграла именно эту его «сильную, но в то же время слабую» сторону...

– Извини, Леланд, но я что-то не пойму. Мне нужно будет написать про Джона Гарфилда?

– Ты не только будешь писать про Гарфилда, ты еще возьмешь у него интервью. Он сейчас в городе и согласился уделить нам час своего драгоценного времени. Так что рассчитывай к половине двенадцатого быть на месте, часок побудешь на киносъемках, а в половине первого у тебя будет шанс побеседовать с ним.

Меня вдруг охватила паника.

– Я не могу в половине первого.

– Не понял?

– Извини, но я просто не могу завтра в половине первого.

– У тебя какие-то планы?

Я услышала собственный голос:

– Я жду письма...

Господи, как же я пожалела о том, что произнесла эту фразу. Леланд посмотрел на меня, как на сумасшедшую:

– Ты ждешь письма? Я не понимаю, при чем здесь интервью с Джоном Гарфилдом в двенадцать тридцать?

– Нет-нет, совсем ни при чем, мистер Макгир. Все в порядке. Я с радостью проведу это интервью.

Он осторожно покосился на меня:

– Ты уверена, Сара?

– Абсолютно, сэр.

– Ну, хорошо, – сказал он. – Я попрошу пресс-секретаря Гарфилда позвонить тебе после ланча и организовать брифинг. Если только ты не будешь занята в это время, ведь ты ждешь письма...

Я твердо выдержала его взгляд:

– Я буду ждать его звонка, сэр.

Как только Леланд вышел за дверь, я поспешила в дамскую комнату, заперлась в кабинке и разревелась как дурочка. Потом посмотрела на часы. Десять минут первого. Я выбежала из туалета, из офисного здания «Тайм энд лайф» и бросилась в метро. После нескольких пересадок – и марш-броска от Шеридан-сквер – мне удалось добраться до своей квартиры к двенадцати сорока. Но коврик у моей двери был пуст. Я тут же бросилась обратно вниз по лестнице, постучала в дверь квартиры коменданта. Его звали мистер Коксис – миниатюрный венгр лет за пятьдесят (ростом он действительно не вышел), вечно угрюмый... разве что перед Рождеством он надевал маску любезности, рассчитывая на традиционные праздничные чаевые. Но сейчас была середина февраля, и включать обаяние ему не было никакого резона.

– Что вам нужно, мисс Смайт? – произнес он на ломаном английском, открывая дверь.

– Мою почту, мистер Коксис.

– Вам сегодня нет почты.

Я вдруг разнервничалась.

– Этого не может быть, – сказала я.

– Это правда, это правда.

– Вы абсолютно уверены?

– Вы хотите сказать, что я лгу?

– Мне должно быть письмо. Должно быть...

– Если я говорю «писем нет», значит, писем нет. Понятно?

Он захлопнул дверь перед моим носом. Я снова поднялась к себе, рухнула поперек кровати и лежала так, уставившись в потолок... пару минут, как мне показалось. Но когда я взглянула на будильник, стоявший на прикроватной тумбочке, мне стало дурно. Два сорок восемь. *О боже, о боже*, пронеслось в голове. *Я горю*.

Я соскочила с кровати, выбежала из квартиры, села в первое подвернувшееся такси. К редакции я подъехала в три пятнадцать. На своем рабочем месте я обнаружила четыре розовых слипа «Пока тебя не было», приклеенные к пишущей машинке. Первые три были сообщениями от «Мистера Томми Глика – пресс-секретаря Джона Гарфилда». Сообщения были оставлены соответственно в половине второго, в два и в два тридцать. Четвертое сообщение – зарегистрированное в два пятьдесят – было от Леланда: «Зайди ко мне сразу, как вернешься».

Я села за стол. Схватила за голову. Я пропустила звонки пресс-секретаря. Мы потеряли интервью с Гарфилдом. И это грозило мне увольнением.

Я знала, что это должно было случиться. И вот теперь это *случилось*. Я сделала все, чтобы восторжествовала глупость, и теперь мне предстояло заплатить за это непомерно высо-

кую цену. Но в голове почему-то зазвучал голос отца: *«Бессмысленно оплакивать свою ошибку, юная леди. Просто прими ее последствия с достоинством и покорностью – и извлеки для себя урок»*.

Поэтому я встала, пригладила волосы, сделала глубокий вдох и медленно пошла по коридору, готовая «встретить» наказание. Я два раза постучала в дверь. *«Леланд Макгир: Художественный редактор»* — было выведено на матовом стекле.

– Входите, – сказал он.

Еще не переступив порог кабинета, я начала говорить:

– Мистер Макгир, я так виновата...

– Пожалуйста, закрой за собой дверь, Сара, и присаживайся.

Его тон был холодным, чужим. Я сделала, как он просил: опустилась на жесткий деревянный стул и так и сидела лицом к нему, аккуратно сложив руки на коленях, – нерадивая ученица, вызванная в кабинет директора. Только в моем случае облеченный властью человек, восседавший напротив меня, мог не только погубить мою карьеру, но и лишит меня средств к существованию.

– С тобой все в порядке, Сара? – спросил он.

– Да, все отлично, мистер Макгир. Просто замечательно. Если бы только я могла объяснить...

– Нет, Сара, с тобой не все в порядке. И давно, не так ли?

– Я даже не могу передать вам, как мне жаль, что я пропустила звонки мистера Глика. Но сейчас всего лишь полчетвертого. Я могу перезвонить ему немедленно и получить всю информацию по Гарфилду...

Леланд не дал мне договорить:

– Я уже передал интервью с Гарфилдом другому сотруднику. Лоуис Радкин займется им. Ты знакома с Лоуис?

Я кивнула. Лоуис, недавняя выпускница колледжа Маунт-Холиоок, пришла в нашу редакцию в сентябре. Она тоже была довольно честолюбивой журналисткой. Я знала, что меня она рассматривает как свою главную соперницу во внутрикорпоративной борьбе... хотя я никогда и не играла в такие игры (наивно полагая, что хороший работник всегда пробьется сам). Сейчас я знала, что последует дальше: судя по всему, Леланд решил, что художественной редакции требуется только одна писательница, и это будет Лоуис.

– Да, – тихо прозвучал мой голос, – я знакома с Лоуис.

– Талантливая журналистка.

Если бы я желала немедленного увольнения, то могла бы добавить: «Да, и я видела, как она с тобой заигрывает». Но вместо этого я лишь кивнула головой.

– Не хочешь рассказать мне, в чем дело, Сара? – спросил он.

– Разве вы не удовлетворены моей работой, мистер Макгир?

– У меня нет серьезных претензий к тебе. Ты пишешь действительно неплохо. И быстро. Если не считать сегодняшнего дня, на тебя всегда можно было положиться. Но меня волнует то, что в последнее время ты постоянно выглядишь усталой, какой-то отсутствующей и работаешь просто на автомате. Кстати, я не единственный, кто это заметил...

– Понимаю, – как-то неопределенно произнесла я.

– У тебя какое-то горе?

– Нет... ничего страшного.

– Тогда, может... дела сердечные?

– Возможно.

– Ты явно не хочешь говорить об этом...

– Извините...

– Извиняться совсем не обязательно. Твоя личная жизнь – это твоя личная жизнь. Но только до того момента, пока она не затрагивает работу. И хотя я, как старый газетчик, выступаю против корпоративной идеологии, мои боссы полагают, что каждый, кто трудится в этих стенах, должен быть «командным игроком», по-настоящему преданным журналу. Ты же, боюсь, отстранилась от коллектива – до такой степени, что многие считают тебя высокомерной и заносчивой.

Для меня это было новостью, и я глубоко огорчилась.

– Я вовсе не пытаюсь быть высокомерной, сэр.

– Ощущение, Сара, это всё, тем более в коллективе. А у твоих коллег есть ощущение, что тебе лучше быть где угодно, только не в «Лайф».

– Вы собираетесь уволить меня, мистер Макгир?

– Я не настолько суров, Сара. Да и ты не сделала ничего такого, чтобы заслуживать увольнения. Однако я бы попросил тебя подумать о том, чтобы работать на нас независимо... скажем, на дому.

Тем же вечером, накачиваясь красным вином у Эрика дома, я посвятила брата в подробности своего разговора с Леландом Макгиром.

– Так вот, после того, как он оглушил меня предложением работать дома, он изложил свои условия. Полгода он будет держать меня на полной ставке – и за это я должна буду каждые две недели приносить по рассказу. Меня больше не будут считать сотрудником «Тайм энд лайф», я буду просто фрилансером, так что никаких благ и преимуществ.

– Поверь мне, это и есть самое большое благо – не ходить по утрам в офис.

– Я уже думала об этом. Но все-таки не представляю, как я смогу работать сама по себе.

– Ты же говорила, что давно мечтаешь писать беллетристику. Теперь у тебя появляется отличный шанс...

– Я уже отказалась от этой идеи. Какой из меня писатель...

– Тебе всего лишь двадцать четыре. Не надо списывать себя раньше времени. Тем более что ты толком еще и не пыталась писать.

– Понимаешь, в этом вся проблема: я никак не могу начать.

– Ну тогда напой первые строчки.

– Очень смешно... Но я неудачница не только в творчестве, я еще, как говорит Леланд Макгир, не командный игрок.

– Интересно, а кому охота быть «командным игроком»?

– Во всяком случае, это лучше, чем прослыть *высокомерной аристократкой*. Но я ведь не такая, правда?

Эрик рассмеялся:

– Скажем так: тебя не примут по ошибке за выходца из Бруклина.

Я наградила его кислой улыбкой:

– Спасибо.

– Извини. Я как-то не подумал.

– Да уж. Это точно.

– От него по-прежнему никаких вестей?

– Ты ведь знаешь, что я бы сказала, если бы...

– Знаю. И я просто не хотел лишний раз спрашивать...

– Потому что... дай-ка угадаю... ты считаешь меня романтической дурочкой, которая втрескалась в негодея после единственной ночи тупой страсти.

– Считаю, что угадала. Но я благодарен твоему бруклинскому ирландскому негодею хотя бы за то, что он спровоцировал твой уход из «Лайф». Пойми, Эс, мы с тобой – не командные игроки. И это означает, что мы всегда будем в стороне от толпы. Поверь мне, это не так уж плохо... если только ты справишься с этим. Так что считай, у тебя появилась возможность

убедиться в том, что ты для себя – самая лучшая компания. Интуиция мне подсказывает: ты действительно сможешь работать сама на себя. Есть в тебе этот талант *отшельника*.

Я легонько ущипнула его за плечо.

– Ты все-таки невозможный, – сказала я.

– Но ты мне даешь такие замечательные поводы быть невозможным.

У меня вырвался грустный вздох.

– Я, наверное, так и не дожусь от него письма?

– Наконец-то до тебя что-то доходит.

– Я вот все думаю... не знаю... а вдруг с ним что-то случилось или его перевели в какое-то отдаленное место, куда и письма не доходят.

– Да и вообще он может находиться на сверхсекретном задании вместе с Матой Хари, пусть даже французы имели неосторожность расстрелять ее в семнадцатом году.

– Хорошо-хорошо, я все поняла.

– Забудь его, Эс. *Пожалуйста*. Ради своего же блага.

– Видит Бог, как я хочу этого. Просто... он не уходит. Что-то произошло в ту ночь. Необъяснимое и в то же время главное. И хотя я все пытаюсь убедить себя в том, что это глупость и безрассудство, я знаю одно: он был *моим* мужчиной.

На следующее утро я расчистила свой стол в редакции «Лайф». Прошла по коридору и заглянула в кабинет Леланда.

– Я просто зашла попрощаться, – сказала я.

Он не пригласил меня ни войти, ни присесть, да даже не поднялся из-за стола. Казалось, он немного нервничал в моем присутствии.

– Ну, речь не идет о прощании, Сара. Мы по-прежнему будем сотрудничать.

– Вы подумали о моем первом задании как фрилансера?

Он избегал встречаться со мной взглядом.

– Еще нет... но я обязательно свяжусь с тобой через пару дней, и мы кое-что обсудим.

– Значит, мне ждать вашего звонка?

– Конечно, конечно. Я позвоню, как только мы расправимся с текущим номером. А пока ты можешь насладиться коротким отдыхом.

Он потянулся к стопке бумаг и погрузился в работу. Это был намек на то, что мне пора уходить. Я подхватила картонную коробку со своими нехитрыми пожитками и направилась к лифту. Когда двери лифта разъехались, кто-то похлопал меня по плечу. Это была Лоррен Тьюксберри. Высокая худая брюнетка лет за тридцать, с клювообразным носом и короткой стрижкой, она работала дизайнером в редакции искусств и слыла первой сплетницей нашего офиса. Мы зашли в лифт вместе. Как только двери закрылись, она наклонилась и прошептала мне на ухо (чтобы не слышал лифтер): «Через пять минут встречаемся в кафе на углу Сорок шестой и Мэдисон».

Я вопросительно взглянула на нее. Она лишь подмигнула мне, приложила к губам палец и, как только лифт открылся в вестибюле, поспешила к выходу.

Я оставила свою коробку у консьержа и зашла за угол здания, где находилось кафе. Лоррен уже сидела за столиком в дальней кабинке.

– Я не задержу тебя, потому что времени у меня не больше минуты. Сегодня очень напряженный день.

– Что-то случилось? – спросила я.

– Ну это если взять твою ситуацию. Я просто хочу, чтобы ты знала: многие из нас сожалеют о твоём уходе.

– Надо же, а мистер Макгир сказал, что все считают меня заносчивой и высокомерной.

– Конечно, он тебе это скажет. С тех пор как ты отказалась встречаться с ним, он затаил на тебя злобу.

– Откуда ты знаешь, что он предлагал мне встречаться?

Лоррен закатила глаза.

– Офис у нас не такой уж большой, – сказала она.

– Но он лишь однажды предложил мне это... и я отказалась в довольно вежливой форме.

– Но факт остается фактом – ты его отвергла. И с того самого момента он стал искать повод избавиться от тебя.

– Господи, уже почти два года прошло.

– И все это время он просто ждал, когда ты оступишься. Мне неприятно говорить тебе об этом, но в последние пару месяцев ты действительно была немного не в себе. Не обидишься, если я спрошу: у тебя неприятности с парнем?

– Боюсь, что да.

– Выкинь его из головы, дорогая. Все мужчины болваны.

– Возможно, ты и права.

– Поверь мне, я на этом собаку съела. И еще я знаю вот что: отныне Леланд не даст тебе ни одного задания. Он специально закинул эту идею фриланса, только чтобы выжить тебя из редакции и чтобы все лакомые кусочки достались мисс Лоуис Радкин... которая, как ты, возможно, слышала, сегодня не только любимая журналистка Леланда, но и делит с ним постель.

– А я все думала...

– И правильно думала. Потому что, в отличие от тебя, маленькая лизунья мисс Радкин не отвергла ухаживаний глубоко женатого мистера Макгира. Из того, что я слышала, одно привело к другому, и вот теперь... ты осталась без работы.

Я с трудом сглотнула:

– И что же мне делать?

– Если хочешь знать мое мнение... тебе не следует ни говорить что-то, ни делать. Просто бери деньги мистера Люса за полгода и садись писать Великий Американский Роман, если охота, конечно. Или езжай в Париж. А то запишись на какие-нибудь курсы. Или просто отсыпайся. Пока не кончатся деньги. Но знай одно: тебе больше не светит писать для «Лайф». Он об этом позаботится. А через полгода официально тебя уволит.

Несколькими годами позже я услышала, что в китайском языке иероглиф «кризис» имеет два значения: опасность и возможность. Жаль, что тогда я этого не знала – потому что слова Лоррен отозвались во мне дикой паникой и ощущением беспросветного кризиса. Я забрала у консьержа свою коробку, взяла такси до дома, захлопнула за собой дверь квартиры, плюхнулась на кровать, обхватила голову руками и решила, что мой мир рухнул. И снова накатила скорбная тоска по Джеку – словно он умер. Да, собственно, так и получалось, что для меня он умер.

На следующее утро я позвонила в Вашингтон, в Министерство сухопутных сил. Оператор наконец переключила меня на редакцию «Старз энд страйпс». Я объяснила, что пытаюсь отыскать одного из их журналистов – некоего сержанта Джона Джозефа Малоуна, который в настоящее время откомандирован в Европу.

– Мы не даем такую информацию по телефону, – сказала секретарь. – Вы должны при-
слать письменный запрос в департамент срочнотрудового персонала.

– Но ведь не так много журналистов по имени Джек Малоун пишут для вашей газеты.

– Военный устав есть военный устав.

Пришлось звонить в департамент срочнотрудового персонала. Клерк дал мне адрес, по которому следовало запросить поисковую форму. По получении от меня заполненной формы департамент должен был ответить в течение шести – восьми недель.

– Шесть – восемь недель? Можно ли как-то ускорить этот процесс?

– Мэм, за океаном служит около четырехсот тысяч человек. Такие поиски требуют времени.

В тот же день я отправила запрос на получение формы. Всё хорошенько обмозговав, я поспешила к местному газетному киоску, что находился рядом со станцией метро Шеридан-сквер. Когда я объяснила киоскеру свою проблему, он сказал:

– Конечно, я смогу оставлять для вас «Старз энд страйпс» начиная с завтрашнего дня. Но вот прошлые выпуски? Тут мне надо поработать.

На следующее утро, ровно в девять, я уже стояла у газетного киоска.

– Вам повезло, – сказал парень. – Мой поставщик сможет достать номера за прошлый месяц. Это будет тридцать экземпляров.

– Я возьму все.

Газеты поступили через два дня. Я просмотрела каждый номер. И не нашла ни одной строчки, подписанной именем Джека Малоуна. Я продолжала покупать ежедневные выпуски «Старз энд страйпс». И опять никаких следов Джека Малоуна. «Может, он пишет под псевдонимом?» – предположила я. А может, он на сверхсекретном задании и еще не успел опубликовать ни одного материала. И кто знает, может, он вообще все наврал и никакой он не журналист.

Бланк поискового запроса пришел через неделю. Утром я отослала его обратной почтой. Вернувшись домой, я с удивлением обнаружила на пороге пачку писем. Конечно, было бы величайшей справедливостью, окажись в этой стопке письмо от Джека, подумала я.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.